

ИСТОРИЯ  
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

АНТОНИН  
ЛАДИНСКИЙ



ГОЛУБЬ  
НАД ПОНТОМ

ВР



Библиотека проекта «История Российского государства»

Антонин Ладинский

**Голубь над Понтом (сборник)**

«Издательство АСТ»

2015

## **Ладинский А. П.**

Голубь над Понтом (сборник) / А. П. Ладинский —  
«Издательство АСТ», 2015 — (Библиотека проекта «История  
Российского государства»)

Библиотека проекта «История Российского Государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники мировой литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков. Имя Антонина Ладинского хорошо известно старшему поколению книголюбов: его исторические романы издавались миллионными тиражами! Офицер Белой армии, долгие годы он жил в эмиграции, считался одним из лучших поэтов русского Парижа, а его первые опыты в прозе высоко оценил Иван Бунин. Сагу «Голубь над Понтом», начатую во Франции, он закончил уже на Родине. Сегодня его проза – уникальный сплав авантюрно-приключенческого романа, средневековых сказаний и художественных бытописаний Римской Империи, Византии и Киевской Руси – вновь на удивление актуальна и своевременна.

© Ладинский А. П., 2015

© Издательство АСТ, 2015

## Содержание

Голубь над Понтом	6
Анна Ярославна – королева Франции	80
Часть первая	80
1	80
2	91
3	106
4	118
5	127
Конец ознакомительного фрагмента.	135

# **Антонин Ладинский**

## **Голубь над Понтом**

© Б. Akunin, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

## Голубь над Понтом

«Голубь, пролетающий над Понтом...» Эти слова взяты из гимна Димитрия Ангела, ромейского<sup>1</sup> стихотворца. Под Понтом он разумел – мир, житейское море; голубь в его стихах – человеческая душа, моя душа и душа Анны, голубка, пролетевшая над стихией грехов и страданий.

Моя душа посетила мир в жестокое и страшное время. Может быть, ангелы говорили ей, когда она покидала небеса:

- Почему ты оставляешь райскую обитель?
- Мне суждено некоторое время жить на земле, – отвечала душа.
- О, как там холодно и темно! – вздыхали херувимы и серафимы.
- Я слетаю на землю не для того, чтобы резвиться на лужайках, а трудиться и страдать...

Земная деятельность Ираклия Метафраста, патриция и друнгария ромейских кораблей, началась разговором с ангелами, а закончилась в мизийских<sup>2</sup> ущельях, где благочестивый ослепил пятнадцать тысяч болгарских воинов.

Душа слетела на землю и в изумлении открыла глаза. Она легко могла бы погибнуть в хаосе человеческих грехов или в минуту слабости продать свою небесную сущность за временные и бранные блага. Говоря простым языком, как в разговоре с приятелем, без метафор и украшений, я мог бы заплыть жиром и сытое существование предпочесть очищающим нас страданиям. Я мог бы, как многие другие, добиваться земного благополучия, пресмыкаться, ползать на брюхе, льстить сильным мира сего, откладывать в глиняный горшок милиарисий за милиарисием и приобретать имения. Но во мраке земной ночи меня вел свет неразделенной любви. Она спасла меня от ничтожных устремлений, от чревоугодия и грубого смеха. Какая польза была мне в богатстве, если то, к чему я стремился, нельзя было приобрести и за все богатства мира? Небесная голубка не захотела променять небеса на курятник.

Любовь наполнила все мое существование. Руководимый ею, я пересекал житейское море, как ромейские корабли пересекают в бурю черный Понт, равнодушно взирая на опасности и кипение пучин.

Я не хочу обелять себя, как тот фарисей, что с такой самоуверенностью обращался к Богу. Я последний из христиан. Проливал человеческую кровь, и язык мой изрыгал злобу и хулу на людей. Как часто, предаваясь бессмысленному гневу, я презирал их, хотя сам, может быть, был хуже всех. Сколько раз я видел, как они метались, спасая свою жизнь и жалкое достояние, и мое сердце оставалось холодным и недоступным для жалости. Люди полагают, что весь мировой порядок существует только для того, чтобы жить в тепле и довольстве, и не хотят помыслить о высоком. «Пусть гибнут в смятении, – думал я, – какая от них польза?»

Только отдающий свою душу за других заслуживает сожаления и слез. Только погибающий ради высокой цели достоин бессмертия. Люди копошатся среди своих маленьких дел, трусливо прячутся от непогоды, закрывают уши от шума бурь. Спросите их, жаль им героя, который борется за спасение их ленивых и дрожащих от страха душ? Им все равно. Если случится катастрофа, они предадутся унынию. Мою злобу возбуждает нежелание этих поселян, торговцев, стяжателей, судей и писателей хроник и гимнов загореться ревностью к общему делу. Они говорят:

– Мы соблюдаем посты, платим налоги и подчиняемся законам. Пусть все останется как есть.

---

<sup>1</sup> Ромей (т. е. римляне) – так называли себя византийцы по официальному наименованию государства – Восточная Римская Империя.

<sup>2</sup> Мизия – провинция в Малой Азии.

Но ведь ромеи живут, как на вулкане. Каждый день нас могут затопить волны варварского моря, а эти люди не хотят расстаться с теплом супружеских постелей. Мы с базилевсом<sup>3</sup> поднимали их среди ночи, гнали жезлом на поля сражений. Они не могли понять, что назначение человека – умереть ради прекрасной цели, а не цепляться за ничтожную жизнь. Они плакали и жаловались на невыносимую тяжесть возложенного на их слабые плечи бремени. Не плакать надо, а трудиться, пылать, как свеча среди ночного мрака, стоять непоколебимо средь бури! Только то прекрасно, ради чего человек согласен отдать свою жизнь, не имея от этого никакой личной выгоды. Иначе как вы проверите ценность вещи?

Мрачные предсказания Льва Диякона сбылись. Как он написал в своей книге: *северная Аврора возвестила нам о падении Херсонеса*. Буря негодования возмутила душу благочестивого. А в это печальное время, как будто ничего не случилось, как будто не угрожала нам со всех сторон гибель, его брат Константин беззаботно охотился с друзьями на холмах Месемврии на диких ослов. На базарах говорили: – «Побрякушка и крест делаются из одного куска дерева».

Огненные столбы вставали на северной стороне неба, наводя ужас на городскую чернь. Страшная комета плыла, как пылающий кипарис, в небесном пространстве, может быть, предвещающая гибель мира. Мы были свидетелями того, как рухнул с ужасным грохотом дивный купол одной из наших церквей – непрочное создание человеческих рук. Потом полевая мышь пожрала посевы, и нас посетил голод. Люди платили по номизме за медимн пшеницы, а в море погибло множество кораблей, и земля оросилась кровью христиан.

Взятие варварами Херсонеса<sup>4</sup> завершило наши бедствия. Огромной важности события совершались в херсонесской феме! Падение этого города горным эхом отозвалось в тишине гинекеев<sup>5</sup>, в бедных хижинах дровосеков, в становищах доителей кобылиц. Торговцы на сарацинских базарах, корабельщики в портовых кабаках, путники на далеких караванных дорогах, останавливаясь на ночлег в придорожных гостиницах, рассказывали друг другу о событиях в Готии<sup>6</sup>. Станный ветер веял из скифских степей. Судьбы человечества решались ныне на берегах Борисфена! В руке базилевса трепетал хрустальный шар – увенчанный крестом символ мира.

А послушайте, о чем беспокоятся эти люди!

– Правда ли, что цена на хлеб поднялась на два фолла?

Кухарь, принес ли на поварню истец обещанного ягненка?

– Уплатила ли вдова положенную мзду за панихиду?

В тот страшный вечер я был в долине Ликуса. Нас было четверо: историограф Лев Диякон, спафарий Никифор Ксифий, мужественный человек, уши которого заросли волосами, как у волка, я и юный Димитрий Ангел, стихотворец, строитель церквей. Мы ехали на мулах, возвращаясь с виноградника Леонтия Хризозефала, где мы провели день в дружеских разговорах.

Комета, подобная огненному мечу архангела, плыла в черном небе. Потрясенные зрелищем, мы вздыхали. Уже впереди чернели городские башни. Вдруг земля заколебалась под нашими ногами. Мы остановились в ужасе. Нам казалось, что наступает конец мира. Глухой и тяжкий грохот донесся до нашего слуха. Димитрий Ангел схватил меня за руку:

– Неужели это рухнул купол святой Софии?

Мы перекрестились. Никто не ответил ему. Каждый опасался за свою жизнь, за участь близких, за судьбу своих жилищ. Но падение купола такого храма по своему значению равно было бы мировой катастрофе. Этого не мог охватить разум.

---

<sup>3</sup> Базилевс (василевс) – титул византийских императоров.

<sup>4</sup> Херсонес – город на юго-западе Крымского полуострова, находился поблизости от современного Севастополя.

<sup>5</sup> Гинекей – женская половина дома.

<sup>6</sup> Готия – Северное Причерноморье.

Лев Диакон сказал:

– Что-то случилось на земле важное и страшное! Природа извещает нас о каком-то большом событии. Может быть, о падении Херсонеса...

– Что же теперь будет с нами? – спросил Димитрий, готовый уже заплакать от волнения.

Лев Диакон показал рукой на комету, плывшую, как челн, в мировом пространстве.

– Видишь? Не без причины посетила нас небесная гостья...

Я неоднократно бывал в Херсонесе и хорошо знаю этот шумный торговый город. Жители его коварны, туги на веру, лгуны, легко поддаются влечению всякого ветра, как писал еще о них епископ Епифаний. Они жалкие торгаши и неспособны на великое. Торжище – их душа, нажива – смысл жизни и цель всех трудов. Нельзя доверять им ни в чем. Разве не нашелся среди них и в наши дни предатель – тот пресвитер Анастасий, что пустил в лагерь руссов стрелу с указанием, в каком месте надо перекопать подземный акведук, чтобы лишить осажденных воды?

Расположенный на берегу Понта, на пересечении важных торговых путей из Скифии и Хазарии в Азию и Константинополь, обнесенный стенами из прочного желтоватого камня, укрепленный башнями и военными машинами, счастливый обладатель бесподобной гавани, этот город сделал себе бога из золотого тельца. Его белые корабли, освобожденные от пошлин, доставляют нам и в города Азии рыбу и соль. В устье Борисфена его жители владеют рыбными промыслами и солеварнями. Права на них оговорены в особых соглашениях с варварами. Через рынки Херсонеса проходят товары из Скифии – меха, янтарь, кожи и кони, которых продают там дикие кочевники. Но жадный и беспокойный город был склонен всегда к возмущениям и неоднократно убивал своих епископов и стратегов. Дальновидные базилевсы, заключая договоры с варварами, упоминали в них, что в случае восстания варвары обязаны подавить мятеж и привести херсонитов к повиновению власти, поставленной от Бога. О них упоминается в сочинении «Об управлении империей». Багрянородный<sup>7</sup> автор советует своему сыну Роману, для которого написана была книга, как действовать в случае отпадения Херсонеса. Для этого только надо захватить в столице и в гаванях Азии херсонские корабли, запретить продавать им пшеницу, прекратить всякое сообщение с полуостровом. Предоставленные собственной участи, они погибнут. Ничему не предаются люди с таким прилежанием, как торговле. По Борисфену и по далекой Русской реке, впадающей в Хазарское море, плывут ладьи с товарами. Встречаясь в пути с другими ладьями, купцы перекликаются:

– Откуда вы плывете?

– Из Самакуша.

– Не видели ли вы в Фулах хазарского купца Исаака Самана?

– Видели. Покупает меха и воловьей кожи.

– В какой цене теперь кожи?

В хазарских солончаках странствуют караваны верблюдов. Люди идут, неделями не встречая человеческого жилья. Но вот впереди пылится дорога, скрипят колеса встречного каравана, волы тащат огромные повозки с товарами. Купцы останавливаются, с опаской осматривая друг друга. Потом завязываются разговоры.

– Точно ли, что в Таматархе чума?

– Чумы нет, но люди страдают желудками, многие умирают.

– Не встретили ли вы на вашем пути кочевников?

– Не встретили.

– Что происходит в Херсонесе?

– Беличьи шкурки идут хорошо, в большом спросе перец и мускус.

---

<sup>7</sup> Багрянородный (порфирогенный) – титул детей базилевса, здесь имеется в виду Константин VII, включивший этот титул в свое имя.



– Не видели вы в Фулах хазарского купца Исаака Самана?

– Видели. Покупает воловы кожи...

Сколько раз я ходил по улицам Херсонеса, бродил по его торжищам, с удивлением взирая на торговую суету.

Уже на рассвете стекаются продающие на городской рынок, где между колоннами висят перекошенные разновесами железные весы, а на каменных прилавках лежат пахучие кожи, зловонные сырые меха, серебряные чаши, мешочки с янтарем, амфоры с перцем, сосуды с мускусом, расшитые грифонами и цветами сарацинские материи. У базилики святой Богородицы в меняльных лавках разжиревших скопцов звенят номизмы и милиарисии. Люди самого различного облика, ромеи и варвары, евреи и персияне, хазары, иверийцы и жители далеких сарацинских городов, бродят среди этих товаров, расспрашивают о ценах, торгуются, клянутся всеми святыми, Перуном и мечом Магомета, продают и покупают. На другом рынке, у Кентенарийской башни, торгуют вином, пшеницей и оливковым маслом, а у башни Синагры продается рогатый скот, бараны, кони и ослы. Верблюды проходят в городские ворота. С тяжелыми выюками на горбах, гордо подняв маленькие головы, позванивая колокольцами и амулетами, они идут бесконечными караванами. В порту торговые корабли нагружаются рыбой и мехами, чтобы при первом попутном ветре идти в порты Азии. Всюду разговоры о наживе, о прибыли, об удачном лове, о ценах на беличьи шкурки, доставленные из далекой Скифии русскими купцами. Продавец обманывает покупателя, а покупающий, может быть, платит серебром, похищенным из церковной сокровищницы! Зернохранилища, солеварни, амбары и масличные точила важнее здесь, чем базилики. Разве способны эти жадные и лживые люди на великие деяния?

Но магистр Леонтий Хризokeфал, умный и лукавый старик, поблескивая черными глазами, говорил мне, когда речь заходила о Херсонесе:

– Хороша херсонская рыба! Любят ромеи рыбку! Что может быть приятнее рыбного соуса с луком, чесноком и перцем?

Для него все ясно и просто в мире. Херсонесская рыба – питательная и дешевая пища для черни и воинов. Чтобы покупать ее, нужны деньги. Деньги достает государство взиманием налогов и пошлин. Всю жизнь шуршит магистр бумагами, макает тростник в чернильницу, пишет доклады и списки. Все – для пользы ромеев.

Благочестивый египетский монах Козьма Индикоплевст, совершивший в дни кесаря Ираклия путешествие в Эфиопию и написавший «Христианскую топографию», в своей книге уподобил мир скинии завета. Мир, четырехугольный и плоский, подобен горнице, в которой свод – небеса. Землю со всех сторон окружает океан. По ту сторону его жили наши праотцы до потопа. Солнце, раскаленный шар, возникший из небытия в четвертый день творения, освещает мир днем, луна – ночью. В час заката солнце прячется на западе за коническую гору.

Мы все живем в этом ограниченном океаном мире: базилевсы, стратеги, патриархи, епископы, простые башмачники и овчары, Димитрий Ангел и Никифор Ксифий, Лев Диакон и я. Люди привыкли к незначительному пространству. А меня это низкое небо сковывает, как железом. Порой хотелось бы разорвать его руками, прободать трезубцем, посмотреть, что скрывается за его голубой прелестью, какие райские тайны? Магистр Леонтий иногда посмеивается:

– Умрешь, тогда узнаешь! А пока едва хватает времени управиться с земными делами и заботами. Откуда у тебя такое беспокойство? Смотри, чтобы тебя не отлучили от церкви!

Сам он плавал в земных делах, как рыба в воде, копил деньги на черный день, покупал земли и виноградники, содержал в порядке свой дом, выгодно выдавал дочерей замуж, неоднократно исполнял ответственные государственные поручения, мечтал, что со временем и его сделают логофетом дрома<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Логофет дрома – одно из высших должностных лиц.

Ромейский мир – как некий огромный улей или муравейник, где каждому раз навсегда предназначены определенное место, обязанности и права. Каждый шаг и каждое слово базилевса связаны римским церемониалом, который нельзя нарушить ни при каких обстоятельствах.

Даже простой табулярий<sup>9</sup>, когда к нему является товарищ, обязан сделать ему навстречу установленные три шага, не два и не четыре. В «Книге эпарха» точно указано, как производить продажу и куплю, какие цены могут быть назначены за барана или за медимн жита, сколько милиарисиев имеет право нажать с номизмы торговец шелком, и почему булочники имеют двадцать четыре процента с продажи хлеба, принимая во внимание расходы на топливо. Легаторий и его помощники следят, чтобы точными были весы торговцев, чтобы менялы не подпиливали золотых монет, лишая их законного веса, чтобы свечники не подливали в воск сала, чтобы золотых дел мастера не покупали более одного фунта золота в год, чтобы серикарии не окрашивали шелковых материй в пурпур. Свечники, менялы, мясники, торговцы бальзамом, иссопом, пшеничной и житной мукой, рыбой, твердой и жидкой смолой, коноплей или гвоздями, мыловары, башмачники и пекари объединены в содружества, подчиняющиеся строгим правилам и облегчающие надзор за трудом и податным обложением. Каждому назначено место для торговли. Золотых дел мастера продают свои изделия на Средней улице, от Буколеонского дворца до Золотых Ворот, восточные товары продаются только в Эмволе, торговцы ароматами выставляют свои товары на продажу между Мидием и иконой Спасителя в Халке, чтобы благоухание мускуса и амбры долетало до дворцовых портиков.

Среди торгующих благовониями много сарацин, египтян, армян, эфиопов и персиян. От их криков и завывания кружится голова. Они макают пальцы в фиалы с ароматами, мажут у проходящих ладони или бороды, расхваливают свои товары:

- Купи мускус для своей возлюбленной, не раскаешься!
- За один милиарисий – климат рая!
- Благовонные притирания! Благовонные притирания!

Горбоносый человек в огромном тюрбане, склонив голову набок, шевеля тонкими пальцами перед лицом, уговаривает покупателя:

– Что тебе скажет женщина, с которой ты сегодня ночью поделишь ложе? А вот что она скажет, достопочтенный... Не надо мне драгоценных украшений, скажет она, а принеси мне амбру и мускус, потому что от ароматов у меня кружится голова...

Бродячий монах выкрикивает:

– Камушки из реки Иордан! Иорданские камушки! Дешево, без запросу...

Сарацинский купец предлагает:

- Душистое мыло под названием «Тайна красоты». Купите «Тайну красоты»...
- Благовонные притирания...
- Миозотис, новый запах...

Здесь я встречал путешественников и паломников, посещающих наш город. Здесь я разговаривал с Сулейманом ибн-Вахабом, совершившим трижды путешествие в Иерусалим, побывавшим в Индии.

Растирая в ладонях каплю амбры, он говорил мне:

– Страсть к путешествиям подобна любви. Новые страны, как новые любовницы. Мы снимаем с них одежды и открываем неведомые доселе красоты...

Я просил его рассказать о Иерусалиме или о Дамаске, и он закатывал глаза от прилива приятных воспоминаний.

– О, Дамаск!... Если может быть на земле рай, то это – Дамаск, жемчужина мира, вечная весна...

---

<sup>9</sup> Табулярий – служащий архива.

Предо мной стоял враг, сарацин, один из тех, кто разрушал Гроб Христа... Но ведь мы были не на поле сражения.

Харчевники имеют право открывать свои заведения с восьми часов утра до восьми вечера, когда предписано гасить в городе огни. Со всей строгостью власти следят за соблюдением постов, посещением богослужений и совершением молитв. За малейшее нарушение предписаний положены пени, плети, тюрьма, отобрание имущества, ослепление, лишение жизни. Трудно жить слабому человеку в таком мире. Все, от базилевса до последнего поденщика, как в оковах. Но что значит наша брменная жизнь в сравнении с вечным спасением и со служением Богу? Нет на земле выше и прекраснее цели! И вот мы несем тяжелое бремя, страдаем, трудимся, проливаем кровь, совершаем опасные путешествия на кораблях, постимся, испытываем всяческие лишения. Только способные на великие и прекрасные подвиги достойны бессмертия.

Солнце склоняется к западу, и вечерняя тишина опускается на город Константина, на его форумы, дворцы и храмы. В окне, разделенном тонкой колонкой, в голубоватой дымке городских испарений видны купола, черепичные крыши, портики, темно-зеленые сады, спускающиеся купами к проливу святого Георгия. Слева, в тихой воде Золотого Рога, стоят критские и итальянские корабли, доставившие в Константинополь мед, баранов и мрамор. На набережных, заваленных бочками с соленой рыбой, мехами с вином, глиняными сосудами с оливками, корзинами с плодами, еще бродят праздные гуляки, слышен иногда шум случайной драки или песня пьяного корабельщика, направляющегося в квартал Зевгмы, над воротами которого сияет мраморная статуя Афродиты, последнее прибежище кипрской богини. Там, в грязных лупанарах, люди пьют вино и предаются блуду.

Знаете вы легкомысленную песенку:

Подойди, дружок,  
И сорви цветок...

Ее здесь распевают хриплыми голосами пьянчужки, венецианские корабельщики, беспутные юнцы. О чем говорят эти люди? О любви? Нет, о похоти. Называют имена женщин, сравнивают их продажные прелести.

– Зоя стоит того, чтобы за нее заплатить десять милиарисиев.

– А иверийка Тамар?

– Тамар слишком худошавая.

– Если ты предпочитаешь полных, сходи к другой Зое, на улице Дельфина.

Не посещайте этих мест, юноши, если не хотите запятнать себя грехом.

Меса, главная улица города, тянется от ипподрома, мимо форумов Константина и Феодосия, а возле площади Быка и форума Аркадия разделяется на два пути. Один идет к Студийскому монастырю, а оттуда к Золотым Воротам, другой – к церкви святых Апостолов, к Влахернам. У Буколеонского дворца лавки, в которых продают благовония, свечи, переписанные в тиши монастырей книги и женские украшения, полны покупателей. Наступает вечер. Около бань Зевксипа уже зажгли светильники в «доме света», где торгуют шелковыми материями и где огонь горит до полуночи. Дворцы и хижины построены по соседству. Обращенные окнами во внутренние дворы, они выставляют на улицы глухие стены. Термы, портики, кипарисы, монастыри в мрачных оградах, церкви, форумы, триумфальные колонны и квадриги, библиотеки, все сокровища древнего мира, собранные за циклопической кладкой городских стен и башен, делают город похожим на Рим.

А на полках стоят любимые книги, утешающие мою душу, – «Геопоника» и сочинения Феофана Нонна, «Жития святых» одноименного мне Метафраста, «Хроника» Георгия Амартола, украшенный драгоценными камнями Дионисий Ареопагит, стиль которого столь радует

человеческое сердце, и божественный поэт Иоанн Дамаскин, и Прокопий Кессарийский, написавший жизнеописание величайшего из императоров, и многие другие. И я, Ираклий Метафраст, сын Маврикия, друнгарий ромейского флота, патриций и друг базилевса, рожденный в хижине и возвеличенный до дворцов, осмеливаюсь писать среди этих прекрасных и возвышенных книг о том, что случилось мне видеть и слышать в страшные и гибельные годы.

Закроем глаза рукою и умозрительно представим себе мир, землю и моря, холодные звезды над морями, корабли, погибающие в пучинах, зверей, наполняющих ревом рощи и разрывающих друг друга, христианские города, сожженные варварами, морских рыб, пожирающих мелких рыбешек; представим себе ложь, грехи, корыстолюбие и алчность людей, богача, пирующего в то время, как несправедливый судья отнимает для него хижину бедняка, вдовицу, у которой нет даже фолла, чтобы купить голодным детям кусок хлеба; представим себе жиреющие от чревоугодия тела, болезни, дурное дыхание изо рта, язвы и гноящиеся раны, нечистоты, наполняющие внутренности человека, его животные страсти, неопрятность и мелкую злобу! Всякий раз, когда я вспоминал какого-нибудь преуспевающего и самодовольного глупца, или бесстыдного льстеца, ползающего на брюхе перед сильными мира сего, или грубого обидчика вдов и сирот, или обжору, или мелкого интригана, наделенного по милости слепого случая властью и возможностью притеснять бедняка, мир мне казался черным, как ночь. Только маленькие делишки, только мелкая суета, льстивый смешок, затаенная на дне души зловонная злоба. Но приходил ко мне, чтобы разделить мое одиночество, Димитрий Ангел, поверял мне свои планы, показывая чертежи прекрасных белых и розовых церквей, тех видений, которые ему хотелось осуществить в камне, рассказывал мне в своих стихах о розе, распустившейся утром в росистом вертограде, о мимолетном беге оленя, о деловитом скрипе повозок на деревенской пыльной дороге, о запахе свежее испеченного хлеба, о терпком вкусе вина, о смехе загорелых женщин, и я готов был улыбаться, благодарить Создавшего небо и землю, что мне дана возможность вкушать от радостей и страданий земной жизни. Он говорил мне, худой и бледный, с сияющими серыми глазами, с пятнами лихорадочного румянца на впалых щеках, с козлиной черной бородкой, только что появившейся на его детском подбородке:

– Как прекрасен мир! Корабли плывут по морю, нагруженные пшеницей или произведениями искусства, и путь их лежит в Африку или в далекие гавани блаженных эфиопов. Звезды вращаются над морями, указывая путь корабельщикам. В Багдаде фонтаны плещут перед розовыми и полосатыми дворцами калифов, солнце отражается радугой на водяных каплях, а на зеленых лужайках гуляют пышные павлины. Караваны верблюдов уходят в далекую пустыню за благовониями. За Танаисом<sup>10</sup> ржут кобылицы варваров. А здесь возвышается, как подвешенный на золотых цепях, совершенный купол святой Софии, порт полон хеландий и дромоннов, буря рукоплесканий наполняет ипподром. Всюду жизнь. Всюду красота! И женские глаза, увиденные украдкой в церкви, прекраснее всех звезд...

Мокрота клокотала в его груди, он задышался от кашля, а потом, успокоившись, мечтательно смотрел куда-то вдаль, весь во власти своих колоннад, архитравов, куполов, строительных расчетов и золотых делений.

Да, корабли плывут по морю, но аквилоны вздувают морские пучины, и жалкие создания человеческой жадности и беспокойства трепещут. Весь мир наполнен беспокойством и бурей. Раскроем книгу, в которой багрянородный автор с таким умыслом писал о фемах и провинциях, и мы увидим залитые кровью Армениак, Фракию, Анатолию и Опсикий, горы Тавра, едва-едва возвращенные из-под ига сарацин силою христоролюбивого оружия Эдессу и Антиохию, остров Крит, завоеванный Никифором Фокой, остров Кипр, побежденный патрицием Никитой Халкуци, дивные владения ромеев в Италии – Неаполь и гору Везувий, извергающую серу, огонь и пепел. Со всех сторон угрожают им враги. Еще мы увидим Херсонес

<sup>10</sup> Танаис – река Дон.

в Готии, его поруганные церкви и потоптанные виноградники, Борисфен, вторую реку после Нила, обильную рыбой и сладостной для питья водой, а на берегу Борисфена далекий город Самбат, над которым уже занимается северная заря. Но подобно солнцу, вернее, двум солнцам, сияет над всем миром слава базилевсов Василия и Константина. Господь поручил управление Василию. Мужественный и неутомимый, он крепко держит в руках кормило ромейского корабля. Аквилоны и бореи надули свирепым дыханием пурпурный парус. В смятении плывет корабль к берегам вечной жизни. Содрогаются земля от толчков, рушатся небесные купола храмов, народ вопиет от голода, дитя напрасно мнет материнские сосцы, ибо нет в них ни единой капли молока. Мы – слабые и растерянные, мы – овцы, разбежавшиеся, когда в дуб, под которым спасаются от бури, ударила молния, мы погибаем. Как сторожевую башню на пригорке поставил Господь благочестивого, как золотую статую, ослепительное солнце наше, чтобы народы мира взирали на него со страхом и поклонялись.

В печальное время посетила мир душа моя. Что я? Червь, рожденный во мраке. Разве не подобна судьба моя участи червя? Вот он пожирает лист дерева, содрогаются от голода, мерзкий, несчастный, беззащитный. Два отверстия дала ему природа. Одно для принятия пищи, другое для извержения кала. Таков и человек. Но однажды увидел я чудо. Червь повис с дерева на тончайшей паутинке, кружился и корчился, пока не опутал себя коконом, и потом затих. А по прошествии некоторого времени видел я, как разорвался кокон, а из мертвой хризалиды выполз на солнечный свет пушистый мотылек со сложенными и вздрагивающими крылышками. Пригретый солнцем, он вдруг взлетел в прекрасном полете и скрылся в саду, где цвели розы. Я понял, что это взлетела к небесам заключенная в жалкую материю кокона прелестная душа червя, которую Платон называл Психеей. Не так ли и человек? Не таится ли и в моем бренном жалком теле, запачканном грехами и грязными помыслами, бессмертная душа, дыхание Бога, чтобы в назначенный день вырваться из темницы и улететь в райские пределы? Наша жизнь – темница. Солнцем, озарившим мои страдания, была неразделенная любовь...

Мой отец родился в далекой северной стране руссов, в одном из тех бревенчатых городов, что стоят на берегах многоводных и тихих скифских рек. Когда отцу исполнилось двадцать лет и ему, по обычаю его племени, было дано право носить оружие, он нанялся в охранную стражу некоего варангского купца, который ходил с торговыми караванами в Понт. Птицеподобные ладьи, нагруженные мехами, шкурками белок, воском и лебяжьим пухом, спускались по Борисфену и спустя три месяца возвращались домой с пряностями и южными плодами.

Но по прибытии в наш город отец заболел горячкой. А так как по договору варвары не имели права оставаться на территории ромеев более трех месяцев, то скифы вынуждены были отправиться в обратный путь без больного товарища, оставив его до следующего приезда и поручив больного заботам искусного врача Никиты, у которого была дочь по имени Ирина, моя мать. Молодой скиф полюбил Ирину, приняв святое крещение, в котором был назван Мавриkiem, и навсегда остался в городе ромеев. Будучи способным человеком, отлично изучил он греческий язык и сделался переводчиком для тавроскифских купцов, каждый год приезжавших с товарами в предместье святой Мамы.

Итак, своей судьбой я обязан обыкновенному человеческому недугу. Но ведь ничего нет, что не совершалось бы без воли небес. Если бы отец не захворал и не лечился бы у врача Никиты, не был бы я в лоне истинной церкви, не познал бы Господа, сотворившего небо и землю, не вкусил бы сладости просвещения. Благодаря заботам деда, врача Никиты, у которого были некоторые средства, я получил превосходное образование. С шестилетнего возраста, вместе с детьми богатых людей, я изучал в школе Сорока Мучеников грамматику и синтаксис и читал классических авторов, в том числе и божественного Гомера, а также комментарии к нему. В пятнадцать лет я приступил к изучению риторики, а потом философии и четырех



искусств: арифметики, геометрии, музыки и астрономии, которую я изучал, вместе с наукой о кораблевождении, у астрономов знаменитых трапезондских обсерваторий.

Никогда я не забуду первого своего путешествия на корабле в Трапезонд, слезы матери при расставании, и потом звездные прохладные ночи на плоской крыше обсерватории, небо, усеянное звездами, и сухой палец астронома Никона, показывавший мне Юпитера или Кассиопею. Трепет охватывал детское сердце, когда вдруг раскрывались передо мною тайны небес, и светила, плывущие в эфирном океане, располагались в стройном порядке в хрустальных сферах. Седая борода Никона, аскета и терпеливейшего из учителей, щекотала мне шею. Светила медленно кружились вокруг северной звезды. Тихим голосом астроном сказал мне однажды:

– Прочел я в одном древнем трактате, что земля круглая, как шар, и не солнце восходит над землею, а она вращается вокруг солнца. Но сие есть ересь, осужденная вселенскими соборами.

Я взглянул на него с волнением. Лицо старика было освещено слабым светом звездного неба. Мне показалось, что в глазах у него блеснула лукавая искорка, и мне стало страшно. У меня было то чувство, которое испытывает ходящий по краю пропасти. Как будто я приблизился к какой-то страшной тайне. Вот еще одно небольшое усилие, и все станет понятным. Но страх превозмог. Нехорошо христианской душе пускаться в подобные дебри. Легко можно заблудиться на этом пути и погубить себя навеки.

Утром я видел в библиотеке трактат, о котором говорил астроном. Свиток был написан непонятным для меня арабским письмом. Тайна осталась скрытой от меня навеки. А теперь я жалею, что тогда у меня не хватило дерзости. Теперь уже никто не ответит на мои недоуменные вопросы. Астроном давно лежит на трапезондском кладбище под высокими кипарисами. С собой он унес и тайну небес...

Но еще больше, чем звезды, я полюбил книги. Забывая о времени и о пище, я читал с упоением Платона, который так замечательно умел говорить о любви и о душе. Равного ему в этой области не было и не будет на земле. На какие высоты он взлетал и каким скучным кажется наше земное существование в сравнении с его прекрасным миром идей! Отраженная небесами, как в некоем божественно тихом озере, земная жизнь преображается, а любовь очищается от всего плотского и нечистого. Та же, но совсем иная, неосоздаваемая, но вечная. Неудовлетворенная, но счастливая. Радостная даже в страдании.

Потом прочел я Плотина и Прокла и поражаюсь их гению. Увлекался некоторое время Дионисием Ареопагитом. В этих книгах мир был совсем другим, не грубым, как наше тело со всеми его низменными желаниями, а легким, лишенным неприятных запахов и слишком резких цветов, и я блаженно вдыхал его прохладный разреженный воздух.

Годы шли один за другим. Из Трапезонда я возвратился домой не на корабле, а в повозке, пересек всю Азию, посетил многие города, а ночуя в гостиницах или останавливаясь на постоялых дворах, увидел многих людей. Потом жил с родителями в предместье святой Мамы, ожидая случая получить какую-нибудь должность, о чем хлопотал дед Никита. Жизнь протекала в бедности, но была полна переживаний. Я наслаждался антифонным пением<sup>11</sup>, бегом колесниц на ипподроме и стихами Иоанна Геометра, любимого поэта, который сияет среди бедной человеческой ночи, как благоуханный светильник.

Событием в нашей жизни было, когда являлись из Понта на своих утлых ладьях русские купцы и привозили товары из Скифии. Сначала они распродавали меха и шкурки и прятали деньги в пояса. Потом значительная часть денег уходила на покупку тканей, на вино и женщин. Жили они в предместьях, и в город им разрешалось входить только отрядами по пятидесяти человек, без оружия, в сопровождении переводчиков и особо приставленных для этого людей епарха. Из любопытства я тоже иногда сопровождал варваров в город. Мне было при-

---

<sup>11</sup> Антифонное пение – попеременное пение двух хоров или священника и хора во время церковной службы.

ятно видеть, как они с раскрытыми ртами смотрели на великолепие нашего города. Их поражало, как детей, величие форумов, триумфальных колонн и храмов. В святую Софию язычников не впускали. Но они могли вдоволь наглядеться на красоту наших дворцов, на статуи и водометы. Потом варвары возвращались тем же порядком в предместье святой Мамы, пили в грязных тавернах вино, буянили, хватались за мечи, и тогда являлись присланные эпархом отряды стражи во главе с привыкшим к таким случаям чиновником. Тот старался уладить дело миром, не прибегая к оружию, чтобы не затруднять торговых сношений в будущем. Три месяца спустя варвары покидали ромейские пределы.

У меня было много друзей среди скифов. Все это были рослые и красивые люди, искусные в употреблении меча, отличные стрелки из лука и превосходные наездники. От них я научился уменью владеть оружием, ездить верхом без седла, вскакивать на коня на ходу, цепляясь за гриву. Беседуя с руссами, я понемногу овладел их диалектом и был рад, что мог говорить на языке отца. Впоследствии эти знания мне пригодились.

Но однажды явился лекарь Никита и сказал, что теперь можно надеяться на исполнение наших желаний. Оказывается, ему удалось излечить от бессонницы какого-то важного придворного чина, и в награду тот обещал оказать содействие в приискании подходящего для меня места.

Слова деда оправдались. По прошествии некоторого времени он заявил, что все устроено. О лучшем нельзя было и мечтать. Мне надо было нарядиться в лучшие одежды, потому что надлежало явиться во дворец. Сановник попросил Василия, всесильного в те дни евнуха, чтобы я был принят служителем по письменной части к юным сыновьям покойного базилевса Романа – Константину и Василию.

Мать всплеснула руками и заплакала, не то от счастья, не то от горя:

– Куда ты вознесся, сын мой! Теперь ты и взглянуть не захочешь на наше ничтожество!

А я и не знал в тот вечер, что теперь судьба моя будет связана с судьбами базилевсов.

Над ромеями сгустились черные тучи. Все труднее и труднее было отражать удары многочисленных врагов. Но, чтобы понять положение, в каком очутилось наше государство, надо оглянуться на некоторые события, среди которых прошло детство базилевсов.

Когда тихо почил блаженный император Константин, автор замечательных книг, трудолюбивый, как пчела, работник, на престол базилевсов вступил его сын Роман, двадцатилетний красавец, любимец ипподрома и черни, баловень женщин, белокурый, как все представители македонской династии, предпочитавший государственным делам конские ристалища, охоту и любовь. За спиной мужественного и сурового Никифора Фоки, носившего под пурпуром власяницу, не снимавшего столько лет панциря, он мог спокойно расточать поцелуи черноглазым ромейским красавицам. Это Никифор Фока повел на Крит огромный флот – тысячу дромонов и две тысячи хеландий с метательными приспособлениями для огня Каллиника и лучшими воинами империи, славянскими, русскими и армянскими наемниками, чтобы изгнать с острова нечестивых агарян<sup>12</sup>. Из гавани Фиглы, около Эфеса, вместе с флотом вышла в море ромейская слава. Агаряне были изгнаны, и на Крите вновь огласились пением христианские церкви. Новые победы были одержаны в Сирии, Алеппо разграблен, но события в городе Константине побудили его вернуться из похода.

Роман был женат на простой дочери трактирщика, пленившей легкомысленного кесаря изумительной красотой. В один дождливый день он возвращался с охоты и расположился на ночлег в придорожной харчевне.

Леонтий рассказывал мне об этой встрече.

Шел дождь... Охота была удачная – на повозках лежали черные туши убитых вепрей. В деревушке, которая попала по дороге, охотники решили остановиться на ночлег. Деревню

---

<sup>12</sup> Агарянами называли мусульман.

наполнил лай охотничьих псов, с которыми вступили в драку деревенские овчарки. Псари, ловчий, страторы разместились по хижинам. Для базилевса нашли помещение в придорожной харчевне. Над ее воротами висел на шесте сноп житной соломы – символ гостеприимного ложа.

Ложе стелила для базилевса молоденькая дочь трактирщика. Она принесла свежей соломы и, стоя на коленях, взбивала постель. Базилевс любовался ее проворными руками, ее юным телом.

– Как тебя зовут, дитя? – спросил он.

– Феофано, господин, – ответила девушка, опустив трепетные ресницы.

– Сколько тебе лет?

– Пятнадцать, господин.

– Какие у тебя длинные ресницы... Сними с моих ног обувь, красавица!

– Исполню, господин...

Леонтий только что прибыл из столицы, трясся весь день в дорожной тележке, с важным посланием в сумке.

– Выйди, – сказал ему базилевс, даже не взглянув на печать послания.

Ночью в деревне лаяли псы, шел дождь, пахло землей и навозом...

Прекрасная Феофано, дочь трактирщика, стала базилиссой. Ее красота покорила всех ромеев. Лстецы называли ее второй Еленой. Но на базарах и в кабаках говорили шепотом, что это она дала яд своему легкомысленному мужу. Роман умер. Никифор Фока привел из Каппадокии войска азийских фем, и ничто не помешало ему сменить меч, увитый лаврами, на скипетр. Новый базилевс женился на Феофано и объявил, что считает себя только опекуном малолетних детей Романа – Константина и Василия.

Надев пурпурные кампагии<sup>13</sup>, он продолжал походы, вернул ромеям Адану, Мопсуесту, Таре, из сирийских городов – Лаодикею, Иераполь, Арку, Емезу и даже Антиохию, где в числе добычи оказался меч Магомета. Патриций Никита Халкуци завоевал для него Кипр.

Затем разыгрались известные всем события на Истре, прекращение посылки дани болгарам, посольство Калокира в Самбат, вызов Святослава, разгром болгар. Варвару понравились горы и долины Дуная. Но это был бы слишком опасный сосед, надо было снова начинать войну. Однако походы и лишения сломили силы базилевса. Несмотря на блистательные победы, положение государства было тяжелое. Никифор не пользовался любовью народа. В его наружности не было ничего такого, что нравится черни, – ни величия, ни приятного взгляда. Низкорослый, коротконогий, с огромной головой на толстой шее, темнолицый, с глубоко сидящими в орбитах жестокими глазами, он больше походил на мясника, чем на базилевса. Победы его стоили слишком дорого. Народ изнывал под бременем налогов, воины роптали на невыносимую тяжесть службы. А главное, он был слишком стар для прекрасной Феофано. В одну страшную зимнюю ночь, с ведома коварной базилиссы, Иоанн Цимисхий, необузданный честолюбец, ворвался в Буколеонский дворец и убил в постели героя Антиохии и Аданы.

Цимисхий, ловкий и обаятельный человек, начал с того, что отправил в монастырь влюбленную сообщницу и тем обелил себя в глазах христиан. Во главе государства был поставлен евнух Василий. Сам базилевс поспешил на поля сражения. В Болгарии Святослав, опьяненный победами, разорял один за другими города, захватил в плен болгарского владыку Бориса, перевалил Балканские горы, завоевал Филиппополь, где руссы предали мечу двадцать тысяч человек. Но под Адрианополем, можно сказать, уже под самыми стенами города святого Константина, Варда Склир, лучший полководец ромеев, нанес первое поражение северным варварам и принудил их уйти за Балканы. В это время на театр военных действий явился Иоанн Цимисхий.

---

<sup>13</sup> Кампагии – высокие башмаки, пурпурные кампагии носили только базилевсы.

Флот из трехсот дромонов был послан в Истр<sup>14</sup>, чтобы преградить варварам путь отступления. Окруженные со всех сторон в Доростоле, с мечами против метательных машин и огня Каллиника, противопоставляя обнаженные до пояса тела напору закованных в железо бессмертных катафрактов<sup>15</sup>, они погибали тысячами. Святослав предложил мир. Предложение было принято, ибо мир лучше войны, а двадцать пять тысяч разъяренных варваров еще могли причинить достаточно вреда ромеям.

Уступая желанию любопытного русского князя, Иоанн согласился на свидание. Наконец, сияя серебром лат, в пурпуре и в осыпанной жемчугом диадеме, надушенный и завитой, в окружении domestиков, схоляриев и протекоров, базилевс спустился среди деревьев к водам Истра. Святослав приплыл в ладье. Как простой воин он сидел рядом с гребцами с веслом в руке, одетый в простую белую рубаху. У него были длинные усы и бритая голова, а на макушке оставлен русский локон, как в обычае у многих варваров. Иоанн вошел к нему в ладью, гребцы удалились на берег, и два героя беседовали некоторое время, сидя на скамьях ладьи. Руссы, получив по кошнице на воина нужный им хлеб, ушли на берега Борисфена, и там дикие кочевники, может быть подосланные Иоанном, убили Святослава, сего северного льва, нанесшего такой ущерб ромеям.

На западе удалось достичь значительных успехов. Выдав замуж свою племянницу, благонравную Феофану, за Оттона, сына короля ломбардов, именующего себя императором римлян, Иоанн прекратил войну в Италии. Апулия, Калабрия, Салерно и Неаполь остались в руках ромеев. На востоке стратег Николай продолжал громить сарацин, завоевал Амиду, родом из которой был базилевс Иоанн, и Низибис, памятный сражениями древности. Апамея, Эдесса и Барит вернулись в лоно империи. Множество святынь было вырвано из рук нечестивых агарян. Уже вдали мерещились базилевсу священные холмы Иерусалима...

Среди этих потрясений прошло мое детство и юность. О победах мы слышали из уст глашатаев, с амвонов церквей, на форумах и на базарах. Но хлеб был дорог, и все реже приходили в предместье святой Мамы русские купцы. Жить бедным людям было тяжело. Никогда не было в городе такого количества нищих, калек, безруких, безногих и слепцов, как в те годы. И вот для меня начиналась новая жизнь.

С бьющимся сердцем прошел я под аркой огромных дворцовых ворот, под которой гулко отдавались шаги. Меня сопровождал какой-то воинский чин в синем плаще-сагии, с красным поясом. Мы вошли в залу ожидания. Зала была круглая, и вдоль стены стояли обитые полосатой и довольно потрепанной материей скамьи. На них скромно сидели явившиеся сюда по делам люди: поставщики минерального масла для светильников, торговцы мясом и овощами, просители. Какой-то чернобородый человек пробегал с пачкой бумаг в руке. Мой провожатый обратился к нему, и тот внимательно осмотрел меня с ног до головы. Некоторое время, скривив рот, он ковырял пальцем в ухе, а мы почтительно смотрели. Потом чернобородый сказал:

– Юноша! Сейчас ты будешь лицезреть Порфириогенитов.

Подробно он рассказал, как я должен вести себя, начиная с тройного земного поклона и кончая тем, каким голосом отвечать, если во внутренних покоях соблаговолят спросить меня о чем-нибудь. Втроем мы двинулись в глубину мрачного дворца. Моего спутника чернобородый называл «кандидатом»<sup>16</sup>.

В полутемных переходах и галереях стояли огромные варяги и опирались на страшные секиры. Чем больше приближались мы к внутренним покоям, тем сильнее было мое волнение. Наконец чернобородый человек остановился перед обитой металлом дверью и шепнул:

---

<sup>14</sup> Истр – фракийское название реки Дунай.

<sup>15</sup> Катафракты – тяжеловооруженные конники.

<sup>16</sup> Кандидат – один из низших чиновничьих разрядов. В Византии существовала сложная система чиновных и сановных рангов: патриций, стратиг, сакелларий, примикирий, протоспафарий, силенциарий, скривон, стратор, вестпарий, спафарий и др.

– Подождите здесь...

Мы остались ждать с кандидатом у дверей, и я рассматривал с любопытством на стенах изображения морских сражений. На них ромейские дромоны метали огонь на врагов, и сарацинские корабли пылали, как костры. В потемневшей от времени и копоти морской воде плавали золотые рыбы. Вдруг дверь отворилась, и незнакомый человек в желтой одежде до пят, судя по лицу евнух, поманил меня пальцем. Чернобородый выглядывал из-за его плеча. С биением сердца я переступил порог. Чернобородый поклонился и вышел, а я направился с евнухом дальше.

– Как тебя зовут? – спросил он, справляясь с восковой табличкой.

– Ираклий Метафраст.

Скрипучим голосом он тоже стал наставлять меня по поводу троекратных земных поклонов.

– Идем!

Мы пошли.

В конце перехода была низенькая серебряная дверь.

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа... – постучал евнух.

Служитель отворил дверь. Едва сдерживая сердцебиение, я переступил порог, и глазам моим представилось обширное помещение с узкими окнами в непомерно толстых стенках. Перед глазами плыл туман, но евнух подталкивал меня, и я увидел, что на пурпурной скамье сидят сыновья покойного базилевса Василий и Константин, в легких домашних одеждах и в обшитых жемчугом шапочках: один юноша, с мрачно насупленными бровями, другой совсем еще мальчик, с любопытством уставившийся на меня голубыми глазами. Около них стоял тучный человек, тоже евнух, с лицом, лишенным растительности, и заплывшими маленькими глазками рассматривал меня, не говоря ни слова. Потом я узнал, что это был Василий, великий паракимомен.

Помня о наставлениях провожающих, я упал троекратно ниц.

– Приблизься, – услышал я голос паракимомена.

Я подошел.

– Отныне ты будешь служить здесь, – опять сказал евнух, – но, смотри, чтобы не было на тебя нареканий. Или попробуешь плетей!

Я стоял, не смея поднять глаз. Сюда я вошел, как в храм, а мне говорят о плетях! Но все-таки я успел рассмотреть, что братья очень походят друг на друга, оба светловолосые, голубоглазые. Василий угрюмо смотрел на меня, Константин показывал в детской улыбке белые зубы.

Потом старший спросил:

– Хороший ли у тебя почерк? Можешь ли ты писать с достаточной быстротой?

Я пролепетал пересохшими губами, что пишу достаточно быстро.

– Возьми тростник, мы проверим.

В помещении стоял стол, накрытый зеленой материей. На нем находились письменные принадлежности – золотая чернильница, тростник, прекрасно отполированный пемзой пергамент, красный воск для печатей. Тут же лежала раскрытая на титульном листе книга. Скосив глаза, я прочел заглавие. Это был трактат Вегеция о воинских действиях.

Дрожащей рукой я стал выводить титулы базилевсов: «Богохранимые и святые...»

Для входа во дворец мне был выдан пропуск с красной печатью, на которой был изображен павлин. Каждый день на рассвете я являлся туда, слушал утреню в одной из дворцовых церквей, а потом переписывал бумаги. Обязанности мои не были очень трудными, и я пользовался каждым удобным случаем, чтобы приучиться к дворцовым порядкам, помня о словах Никиты, что путь к преуспеванию в жизни лежит не на полях сражений, а через эти огромные золоченые залы.



Иногда целый день проходил в томительном бездействии. В толпе служителей, евнухов и кандидатов я ждал часами, когда меня позовут, чтобы написать несколько слов виночерпию или domestiку схол. У меня было достаточно времени, чтобы присмотреться к моему господину. Василий был мрачного характера, молчалив, угрюм. К наукам относился с нескрываемым презрением, читал только Плутарха и с жадностью набрасывался на военные трактаты. Часто он покидал дворец, садился на коня, укреплял тело гимнастическими упражнениями, расспрашивал опытных воинов, как лучше наносить удары мечом или как отражать щитом стрелы и копыя врагов.

В Буколеонском дворце было скучно и тихо. Мать багрянородных, прекрасная Феофано, была в заточении, в далеком монастыре на армянской границе. Феодора, на которой женился Иоанн, почти не показывалась из своих женских покоев. Сестра Феофано была в далекой Саксонии. Другая сестра Василия и Константина, Анна, как потаенный горный цветок, неслышно жила в тишине гинекея. Базилевс воевал в Исаврии<sup>17</sup>. Во дворце царил всемогущий евнух. Все говорили шепотом, боялись сказать лишнее слово. Что-то страшное висело в воздухе. Казалось, самые стены были пропитаны ядом, интригами, заговорами, тайнами и кровью.

По городу ходили ужасные слухи о положении на восточных границах. С опаской шептали, что базилевс страдает неизлечимым недугом. На базарах откровенно говорили о яде, якобы посланном евнухом в императорскую ставку. Но всюду шныряли соглядатаи, наушники, доносчики. Все трепетало. Я сам, возвращаясь под родной кров, боялся говорить о том, что мне приходилось слышать и видеть во время церемоний и служб.

В нашем городе купля и продажа совершается на определенных местах. Бараны продаются на площади Стратегия, а ягнята, от святой Пасхи до Троицы, на площади Тавра, кони на Амастрианской площади. Здесь вечно толпится народ, как в деревне, пахнет навозом и конской мочой, кричат люди и мычат животные.

На конских, воловьих и рыбных базарах, у цирюльников, в лавчонках продавцов овощей и в хлебных лавках шли разговоры о судьбе базилевса.

- Сколько стоит рыба? – спрашивает покупатель.
- По три фолла за рыбу.
- А в прошлую пятницу я платил по фоллу.
- То было в прошлую пятницу. Цены поднимаются. Потом еще не то будет.
- А что же будет? – удивлялся покупатель.
- Разве ты не слышал? Евнух послал базилевсу отравленное вино...

Из-за плеча покупателя высывался чей-то длинный нос, с любопытством обонял рыбный воздух. Большие уши ловили каждое слово.

- О чем ты говоришь, дружок?
- Я говорю, что рыбка вздорожала, – отвечал продавец.

Наконец император возвратился, оставив незаконченными воинские предприятия. Увенчанный лаврами побед, но изнуренный лишениями, дорогой, снедаемый страшной болезнью, он походил на живого мертвеца. Его встречал народ, патриарх, епископы, все высшие сановники. Я видел, как базилевс улыбался искаженной улыбкой на приветственные крики. Во дворце стало еще тише, еще страшнее.

Однажды, проходя мимо опочивальни императора, я почувствовал в воздухе запах лекарств. Базилевс умирал. Серебряная дверь бесшумно отворилась, на пороге показался евнух Василий, задержался на мгновение, и тогда мы услышали глухие звероподобные вопли больного.

В ту зимнюю страшную ночь на город падал снег. Казалось, что вся Скифия опрокинулась на ромейские площади и улицы. В дворцовых залах до утра горели светильники. В отблеске

---

<sup>17</sup> Исаврия – горная местность в Малой Азии, жители ее считались воинственными разбойниками.

разноцветных лампад странно взирали огромные глаза икон. И вот по переходам и лестницам распространилась весть:

– Ромеи! Базилевс Иоанн в Бозе почил! Ромеи, умер наш герой!

В гинекее слышались рыдания и вопли.

Старик вестийский плакал у каморы святого Феодора:

– Скончался наш лев! Что будет теперь с нами? Мы веруем в Троицу, и было у нас три базилевса – Иоанн, Василий и Константин. Теперь мы погибаем...

Люди метались по залам, как в час землетрясения.

Какой-то слуга коснулся моего плеча и шепнул:

– Тебя требует Порфиригенит.

В смятении я поспешил к Василию. В знакомом покое находились друзья юного базилевса – Никифор Ксифий, Лев Пакиан, Феофилакт Вотаниат, Евсевий Ангел, в те дни domestik дворцовой охраны. Мне показалось, что под плащами они прячут мечи. Василий стоял взволнованный и мрачный. Все посмотрели на меня.

Василий подошел ко мне и сказал:

– Верен ли ты мне или неверен?

В слезах я ответил, что готов жизнь отдать ради его спасения. Василий положил мне руку на плечо, и сердце мое наполнилось ликованием.

– Отнеси это письмо, – зашептал он, – domestik Запада. Пусть он немедленно явится сюда! Пусть окружит дворец схоляриями и эскувиторами!..<sup>18</sup>

Василий всегда говорил отрывистым и грубым голосом. Так говорят мужики или простые воины. Но по его шепоту я понял, что жизни Порфиригенита угрожает опасность. Брат его, отрок Константин, плакал в углу. Василий толкнул меня к дверям:

– Смотри, чтобы никто не остановил тебя! Торопись!

Я спрятал письмо в складках плаща и бросился вон из покоя.

Никто не остановил меня, потому охрана знала меня в лицо.

Стояла тихая ночь. На улице медленно летали хлопья снега. В городе было пустынно. Но где-то вдали слышался глухой ропот человеческих голосов. То спешил со своими схоляриями и эскувиторами Варда Склир, назначенный три дня тому назад domestik Запада. Я побежал навстречу шуму, прижимая к груди послание Василия.

Весть о смерти базилевса распространилась по городу с быстротою молнии. Уже со всех сторон спешил народ. Свечники, торговцы, корабельщики, водоносы бежали к Буколеонскому дворцу. За падающим снегом пылали адским огнем смоляные факелы. Все ближе слышался мерный топот ног и звон оружия. Приближались схолярии. Впереди ехал на коне domestik. Я кинулся к нему и протянул послание.

Domestik остановил коня.

– Дайте мне свету! – крикнул он.

Несколько воинов приблизили к нему факелы. При этом чадном и смоляном огне Варда Склир прочел письмо. Он поднял руку:

– За мной, схолярии!

---

<sup>18</sup> В описываемый период византийское сухопутное войско делилось на две основные части. Первую составляли регулярные гвардейские подразделения (в т. ч. схолярии и эскувиторы) с особой организационной структурой и централизованным руководством, располагавшиеся главным образом в столице и состоявшие в основном из наемников, в т. ч. иностранных. Вторую часть составляли приписные контингента фем (провинций). Главную роль в них играла кавалерия; пехота служила для ее защиты. Верховный начальник фемной армии именовался стратигом. Под его руководством находились командиры разных рангов: высших (мерархи, турмархи), средних (друнгари, комиты, кентархи) и низших (декархи, пептархи, теттархи). Командный состав фемного войска был непостоянным; назначение на должность производилось лишь на время данной кампании и автоматически прекращалось с ее завершением.

Мы все побежали за его конем. Воины выкрикивали ругательства. Несколько раз до моих ушей долетало имя евнуха, сопровождаемое самыми нелестными эпитетами. Ненависть к этому человеку в народе была велика.

– Старая лиса! Жирная рожа! Отравитель! – кричали воины.

Другие ругательства были слишком площадными, чтобы их можно было здесь привести.

Дворец наполнился народом. Варяги пропустили схолариев и, оттиснутые к стене, мрачно стояли, опираясь на свои секиры. Факелы чадили в прекрасных залах. На одно только мгновение я увидел растерянного евнуха. Как Иуда, он лобзал domestика, плакал у него на груди. Вырвавшись из его объятий, Склир кинулся во внутренние покои и, гремя латами, упал ниц на мраморный пол перед лицом господина. Василий пылающими глазами смотрел на нас. Вокруг базилевса столпились его юные друзья. Уже лъстецы взирали на юношу, как на бога, теснились к нему, чтобы лобзать край его одежды, плакали от умиления. Тело блаженнопочившего Иоанна остывало, покинутое всеми в ту страшную ночь.

– Патриарх! Патриарх! – слышались голоса.

Патриарх, ведомый под руки иподиаконами, в длинной лиловой мантии, появился среди оружия и факелов и преклонил колена перед новым господином мира. Воины грубыми, непривычными к пению голосами затянули:

– Многая лета! Многая лета! Автократор ромейский...

Случай или воля Провидения? С той памятной ночи я вошел в доверие к Василию. Он приблизил меня к себе, и вот я стал делить его воинские предприятия. Я полюбил эту жизнь, полную перемен, волнений, глубокого дыхания на поле сражения, ветра и запаха конского пота. Мое сердце не отвращалось от крови, пролитой в битве, от гор трупов после победы, и рука не дрожала, когда надо было обнажить меч. Но не хочу возомнить себя героем. Одно дело стоять в первых рядах и рубить секирой, другое – принимать участие в военном совете или сидеть на коне за нерушимой стеной воинов, прикрывающих тебя щитами.

Евнух Василий уцелел, зубами держался за власть, лукавил, ублажал молодых базилевсов и соблазнял молоденькими иверийскими наложницами. Константин подрастал и вполне удовлетворялся любовью и охотой. Василий с каждым годом все больше мрачнел, все чаще метал молнии из голубых глаз, все крепче сжимал в руках кормило ромейского корабля. Все внимание он обратил на войну и приготовление к походам, предоставив ведение запутанных государственных дел евнуху. Но ради чего, спрашивал я часто себя, цепляется за власть паракимомен? Не ради же одного корыстолюбия? Должно быть, вкусившему власти уже трудно оторваться от этой сладостной чаши. Каждый мнит себя гением и спасителем отечества.

Сколько событий совершилось за эти годы! Когда евнух заподозрил в противогосударственных замыслах Варду Склира, героя событий под Адрианополем, победителя руссов, прекрасного тактика, но беспокойного человека, он лишил его звания domestика и сделал стратегом отдаленной Месопотамской фемы. Обиженный полководец поднял восстание. Пришлось вызвать из тихого хиосского монастыря его личного врага и соперника Варду Фоку. На павкалийской долине разыгралось решительное сражение, в котором лилась с обеих сторон кровь ромеев. В это же время сарацины вторглись в наши италийские владения. Мизия глухо волновалась.

После смерти Иоанна Цимисхия болгары снова вышли из своих лесных и горных берлог и отнимали у нас фему за фемой. Самуил завоевал Лариссу и похитил мощи святого Ахиллия, ревнителя православия на Никейском соборе. Затем он двинулся на Коринф, но здесь преградил ему путь стратег Василия Апокавк. Сам базилевс впервые в этой войне попробовал свои львиные когти. Желая оттянуть от Коринфа полчище Самуила, он изнурительными переходами привел ромеев к Триадице и осадил этот крепкий варварский город. Двадцать два дня мы стояли под бревенчатыми стенами Триадицы. Услышав о приближении Самуила, базилевс

снял осаду, чтобы не очутиться меж двух огней. Но болгары настигли нас в пути и нанесли страшное поражение. Едва-едва мы успели с остатками наших сил отойти к Филиппополю. Сам базилевс принужден был снять пурпурные кампагии и заменить их черными башмаками, чтобы не привлекать внимания врагов.

Я был вместе с Василием под Триадицей.

Этот город лежит среди живописных гор, по которым вьются тропы, известные только пастухам. Горные козлы и серны прыгают здесь с одной скалы на другую. Воздух здесь полон горной бодрости, приятно дышать таким воздухом путнику.

Обложив со всех сторон крепость и надеясь осадой принудить варваров к сдаче, мы укрепили наш лагерь палисадами, разорили соседние болгарские селения и терпеливо ждали, когда иссякнут у осажденных припасы. Каждое утро базилевс выходил из бревенчатого дома, который ему срубили пленники и где он спал, как простой воин, на овечьей шкуре. Мы окружали его, как птенцы орла, – Никифор Ксифий, Феофилакт Вотаниат, Лев Пакиан, Василий Трахомотий, Константин Диоген и другие. Базилевс хмуро смотрел на бревенчатые башни. Слышно было, как кричали со стен осажденные, осыпали ругательствами и проклятиями базилевса, надругались над его священной особой. Василий в негодовании щипал завитки русой бороды.

Потом военные машины начинали метать камни. Болгары отвечали тучей стрел. Слышали ли вы, как поет стрела над головой, когда, оторвавшись от упругой тетивы, описав в воздухе красивую дугу, она летит, оперенная, втыкается в землю и дрожит, вся еще в нетерпении полета? Дышали ли вы этим воздухом, насыщенным ненавистью, криками воинов, конским потом, серой и смолой ромейского огня, запахом свежесрубленного дерева осадных сооружений и вкусом металла? Видели ли вы, как плачет от бессилия в своем шатре мужественный, но побежденный вождь? Я был под Триадицей, дышал воздухом поражения, слышал пение стрел, летевших вслед отступавшим, видел слезы вождя.

Когда наступал вечер, мы собирались вокруг базилевса. В хижине тускло горели светильники, пахло овчиной, а в лагере ржали кони, догорали дымные костры.

Василия терзали мысли о будущем. Его сопровождал в походе историограф Лев, по прозвищу Диакон. Лев захватил с собою редкий список «Последнего видения Даниила». По вечерам, покончив с трапезой, мы читали вслух эту странную книгу и пытались найти в ее темных словах намеки на судьбу базилевса.

Будущее было черным и страшным. Уже истекало первое тысячелетие с того дня, как родился в яслях Спаситель мира. Последние годы были полны таинственных событий. Зимой в Месемврии родился младенец, у которого было три глаза, а руки росли из горба на спине. Последнее время на псарне благочестивого каждую ночь выли псы, и псари не могли заставить умолкнуть их даже плетью. Затерянные во мраке диких гор, мы трепетали. Базилевс, подпирая рукою усталую голову, смотрел на пламя светильника, и его голубые глаза становились черными.

Как сейчас я слышу монотонный голос Льва, прерываемый иногда вздохом кого-нибудь из слушателей.

«В третье лето царствования Кира Персидского послан был ангел Гавриил к пророку Даниилу. И сказал ему ангел: “Муж, преклони ухо твое, ибо я открою тебе все, что совершается на земле до самых последних дней”».

Мы не отрывали глаз от шевелящихся губ чтеца. Со всех сторон окружала нас черная ночь.

«Пошлет Господь огонь с небес, земля покроется водою, а Седмихолмный будет окружен врагами. Горе тебе, Седмихолмие! Увы тебе, Вавилон! Вода потопит высокие стены твои, и не останется в тебе ни одной колонны, и возрыдают о тебе приплывшие к твоим башням корабли...»

Кто-то вздыхал за спиной базилевса:

– Господи, Господи...

«Стены его падут и будет царствовать в нем юноша, который наложит руки свои на священные жертвы. Тогда восстанет спящий змий и убьет юношу и будет царствовать пять или шесть лет. После него воцарится дикий волк, и поднимутся народы севера, которые приступят к великой реке...»

С перекошенным лицом, с глазами, наполненными, безумием, базилевс протянул руку:

– Остановись!

Лев прекратил чтение. Мы с замиранием сердца обратили лица наши к благочестивому. Простирая руки к бревенчатой стрехе хижины, он взывал:

– Какие стены падут? Какой юноша будет царствовать? Какие народы севера?

Голос базилевса звенел, поднимался с каждым словом, поражал наш слух, как звон цимбал.

– К какой великой реке приступят народы севера?

Мне было не по себе. В воспаленной голове теснились мысли. Кто юноша? Василий? Стены – это стены, перед которыми мы стояли бесплодно двадцать один день? Кому грозит смерть?

Благочестивый сжал виски руками, вперил взгляд в пространство, стараясь проникнуть в тайны будущих времен.

– Продолжай, Лев!

Лев снова склонился над страшной книгой.

«Восстанет великий Филипп с восемнадцатью языками и будет битва. Но глас с небес остановит сражение. Тогда перст судьбы укажет человека. Ангел возьмет его в святую Софию и скажет: “Мужайся!...”»

– Читай, читай!

Лев остановился и перевел дух.

Базилевс нетерпеливо:

– Читай, читай...

«Враги будут побеждены, настанет изобилие плодов и мир. Сей человек будет царствовать тридцать два года и потом передаст в Иерусалиме свое царство Богу. А после него блудная жена зачнет антихриста. Антихрист поразит Эноха и Илию. Тогда будет лоза нести тысячу гроздий, а жатва даст неисчислимое множество колосьев, но зубы у него будут железные, и скоро во всем мире останется одна мера пшеницы...»

В лагере послышался шум, топот коней, крики воинов. Ксифий вышел посмотреть, что там происходит.

«Десница его будет медная, а когти в два локтя длиной. И будет он долгонос, глаза его будут, как звезды, что сияют утром, и на челе его будут написаны стихи...»

В это время Никифор Ксифий вернулся, вошел в хижину, даже не сделав обычного земного поклонения пред базилевсом. Лицо его было бледным. Лев прекратил чтение.

– Что случилось? – с раздражением спросил Василий.

– Благочестивый...

Присутствующие вскочили. Ксифий от волнения едва мог говорить. Сигнальные огни сообщали о приближении Самуила. Мы были окружены.

В пути, когда ромеи поспешно отходили на Филиппополь, была остановка на ночлег в каком-то разоренном селении. Разгромленные фемы бурным потоком неслись на восток, душевраздирающе скрипели воинские возы. Дорога от Триадицы до Филиппополя была усеяна трупами людей и животных. Мертвецы и раздувшиеся туши лошадей завалили канавы. К ним уже слетались вороны. Этого нельзя забыть до конца дней: страшную зарю на западе, скрип возов, а на пламенеющем закате небес черные тучи птиц...



Толпы беглецов уходили под прикрытием ночного мрака. В селении стояла маленькая каменная церковь, а вокруг нее раскинулись крытые тростником хижины. Только дом священника был под черепицей. В нем устроили постель для базилевса, затопили очаг, потому что ночь была холодная, поставили стражу. Остальные разместились где пришлось. Воины спали на земле, положив под головы щиты, укрывшись плащами или зарывшись в солому. В селении нельзя было найти куска хлеба. Все было разграблено нашими же воинами, которые не пощадил даже церкви. Жители, может быть, тайные богомилы<sup>19</sup>, убежали в соседние леса, захватив с собою скот и запасы зерна.

Сердце мое было полно стыда и отчаянья. Я видел бегущих ромеев, растерявших оружие, бросивших воинские инсигнии, ни о чем другом не помышлявших, кроме спасения своих жалких жизней. Сам базилевс сменил пурпурные кампагии на черные башмаки, чтобы не быть узнанным в случае пленения. И ты, лев!

Только варварские наемники отходили строем, огрызались, как волки, когда на них псами кидались болгары. Но разве я сам не трепетал, не наклонял выю, когда слышал пронзительное пение стрелы, не бледнел, когда блистала перед моими глазами страшная секира?

Лагерь понемногу затихал. Пришли люди и сказали, что меня желает видеть Василий. Базилевс сидел на жалкой постели священнослужителя, уронив голову на руки. Никого около него не было. Я стоял, ожидая, когда мне скажут, зачем меня позвали. Василий поднял на меня глаза и спросил:

– Что ты смотришь на мои башмаки? Я сделал это не из страха. Я не хотел умножить их торжество. Они не должны были знать, кого поражают.

Я видел, как по щеке его катилась слеза. Поймав мой взгляд, Василий смутился.

– Никому не говори об этом. Я плачу не от слабости, а от злобы. Бежали, как овцы. Христопродавцы...

Получив приказания, я оставил базилевса наедине с его тяжелыми мыслями. Мне надо было найти domestika. В поисках его я ходил от одной хижины к другой, шагая через спящих людей, натываясь на распряженные вozy. На повозках стонали раненые, обмотанные грязными тряпицами. Тысячи их мы бросили на поругание варварам. Кое-где догорали костры. На дороге все еще слышен был скрип возов, шелканье бичей. Измученные воны ревели.

Наконец я добрался до хижины, в которой устроился на ночь domestик Георгий Лахано-дракон. Перелезая через плетень овечьего загона, я услышал в темноте человеческие стоны. Кто-то стонал за плетнем, проклинал мир и базилевса, хулил Христа. Голос был искажен страданием, хотя мне показалось, что я знаю этого человека. Но сердце мое окаменело. Не обращая внимания на вопли, я вошел в хижину.

В хижине горел жалкий светильник. В его мигающем свете я разглядел несколько человек в воинских плащах. Тут были Давид Нарфик, Феофилакт Вотаниат, Лев Пакиан, Никифор Ксифий, брат domestika Андроник. Сидя за убогим столом, они подкреплялись хлебом, брали перстами из деревянной солонки щепотки соли. Доместик уронил голову на стол. Рядом с ним сидел Лев Диакон, положив перед собой худые белые руки. Никифор Ксифий протянул мне кусок хлеба и сказал:

– Утоли хоть немного голод.

Я взял этот кусок житного деревенского хлеба и стал есть, орошая его слезами. Два дня во рту у меня не было и крошки пищи. В хижине стояла могильная тишина, полная вздохов. Чтобы нарушить тягостное молчание, я спросил:

– А где патриций Иоанн?

Доместик поднял голову, посмотрел на меня воспаленными глазами.

– Благочестивый велел его ослепить.

---

<sup>19</sup> Богомилы – сторонники распространенной в Болгарии ереси, считали материальный мир порождением сатаны.

Так это патриций Иоанн стонал в загородке для овец, сей гордый муж, владетель домов и виноградников! Еще вчера он был в такой силе, а сегодня лежал на навозе, ослепленный, оставленный льстецами, покинутый друзьями из страха, что оказанное ему внимание может возбудить гнев в сердце благочестивого.

Все сидели мрачные, подавленные несчастьями последних дней. Только Никифор Ксифий, стоя на коленях и устраивая для себя в углу хижины овчину для ночного ложа, не удержал негодования:

– Тяжело! Сегодня ты сидишь на коне, а завтра подставляешь спину под плети. За что ослепили Иоанна?

– Власть базилевса подобна секире, лежащей у корня дерева, – вздохнул Лаханодракон.

– Секира? Лицемерие! – продолжал распаляться Ксифий, – не секира, а плеть! Пришлось мне видеть в Италии, как живут ламбардские бароны, никто пальцем не смеет тронуть барона. Поистине, они патриции, а не смерды. А у нас...

Никифор Ксифий был мужественным человеком. Уши у него заросли волосами, как у волка. Он воевал в Италии, защищая наши владения от сарацин, и любил рассказывать о рыцарских поединках ради прекрасных дам, о том, как весело пируют в Риме под музыку виол и охотничьих рогов в обществе красивых и доступных женщин. Пусть пируют! Зато гореть им в геенне огненной, еретикам и латинянам.

Все еще стоя на коленях и отстегивая тяжелый меч от пояса, Ксифий негодовал:

– А у нас? Пресмыкаешься, как змея. Ходишь осторожными шагами, опустив глаза. Ради чего мы проливаем кровь?

– Замолчи! – крикнули ему.

Доместик заткнул уши пальцами, чтобы не слышать богохульных слов.

Глаза Ксифия горели угольками.

– Благочестивый один отвечает за наши поступки. Твое дело умереть, а не осуждать. Положи предел твоему безумию! – удерживал я его от греха.

Никифор укрылся с головой плащом и скрежетал зубами. Да, он был мужественным человеком, его плащ был в крови врагов, а патриций Иоанн Атон первым покинул поле сражения и, чтобы насытить свое чрево, велел зарезать вола, который тащил метательную машину.

Другие тоже стали поспешно укладываться на ночь. Я вышел, чтобы исполнить повеление базилевса – проверить заставы. Лев Диакон присоединился ко мне. На его обязанности лежало записывать все достойное упоминания, и он хотел посмотреть на картину ночного лагеря.

Лагерь спал. Пахло гарью потухших костров. Люди стонали во сне – их мучили кошмары. В этом хаосе моя душа, привыкшая к тишине дворцов, к пению гимнов, испытывала смятение.

На заставе стояли варварские наемники. Среди общей растерянности они одни сохранили спокойствие духа. Равнодушно они переживали победы и поражения. Что для наемников слава ромеев? Один из воинов, седоусый, со следами старых ран на лице, сказал товарищу:

– Смотри, вот пришли греки, храбрые барсы...

Я сделал вид, что не понимаю их языка. Мы пошли прочь. Чтобы не вспоминать о дерзких словах варвара, я спросил Льва:

– Откуда ты родом?

Лев вздохнул.

– Отечество мое – Калоя, тихое селение в Азии, среди холмов Тмола, на берегу Каистра, впадающего в море около Эфеса. Дивные места!

Далеко в ночном мраке послышалось пение петуха.

– Петухи! В Калое в этот час тоже поют петухи.

Потом он продолжал, копаясь в своих воспоминаниях:

– Отца моего звали Василием. Когда было решено послать меня в святой город, чтобы я вкусил просвещения, твой покорный слуга отправился в путь на корабле, нагруженном быками.

В Константинополь я прибыл в тот самый день, когда в город вступал император Никифор. Спокойно он ехал среди всеобщего волнения и улыбался. Это был титан! Сражался, как лев, а под пурпуром носил власяницу. Но как он притеснял церковь, разорял монастыри, унижал митрополитов.

– А зачем им богатство? Многое стяжание служит препятствием для спасения души. Легче верблюду... А они строят пышные дома, имеют табуны коней и верблюдов. Вспомни, как жили святые, просиявшие в Египте и в других концах земли, как будто уже достигая бесплотности ангелов. Епископ говорит: «Не пепись о завтрашнем дне!» – а у самого толстое брюхо...

– Это Ксифий заразил тебя богохульством, – сказал Лев, – погубишь ты себя дружбой с этим человеком.

– Благочестивый знает мое рвение.

– А длинные языки? А подлые уста, нашептывающие в тишине?.. Где же хижина?

В темноте трудно было найти дорогу. Наконец мы наткнулись на наше убежище. На пороге спали схолярии. Лев остановился и поднял руку:

– Ты слышишь в воздухе веяние катастрофы?

Да, это была катастрофа. В хижине богатейшие люди, представители древнейших фамилий, имеющие власть судить и разрешать, патриции, катепаны и доместики, блистающие разумом и разделяющие в совете замыслы базилевса, спали, как простые поселяне, на полу, на соломе. Обозы с нашим достоянием были брошены на дороге, рабы разбежались, первые стали последними.

До утра осталось ждать недолго. Я прилег, чтобы отдохнуть. Невольно в голове явилась мысль о базилевсе. Что он делает? Вкушает сон? Бодрствует? Поистине, мы могли учиться у него смирению и твердости в несчастьях. Жизнь – тлен и сон и не имеет сама по себе никакой цены. Только отданная ради великой цели она уподобляется бессмертию.

Спавшие на соломе стонали во сне, скрежетали зубами, метались. Воздух был испорчен человеческим зловонием. Слышно было, как вопил в овечьей загородке ослепленный патриций.

Течет неуловимое время, увлекает в небытие людей, великие и пустячные дела, трагедии героев и Жалкие иллюзии глупцов. Иногда казалось, что государство ромеев на краю гибели. Спустя два года после несчастного события под Триадицей, поднял мятеж Варда Фока и провозгласил себя базилевсом в хорсианской феме. Пожар восстания распространился по всей Азии. К счастью, вновь появился на театре военных действий Варда Склир, превратившийся в Багдаде из беглеца в предводителя христианских отрядов. Фока вероломством захватил противника и тогда, уже без всякой помехи, двинулся на Константинополь. Это был энергичный и предприимчивый человек. Его озаряла слава Никифора. Ничто, казалось, не могло остановить его победного шествия. Что было делать нам среди таких испытаний? Приходилось униженно просить помощи у варваров.

Во время этих событий получено было известие, что Владимир, князь руссов, принял святое крещение. К нему немедленно было отправлено посольство с дарами, до которых жадны варвары. Был заключен новый договор. Владимир прислал шесть тысяч варягов. Варяги секирами изрубили под Хризополем воинов Фоки и освободили осажденный Абидос. Мятежник умер на поле сражения, пораженный апоплексическим ударом. Но Владимир требовал, во исполнение заключенного с ним договора, руки Анны, сестры базилевсов.

В час, когда разгневались небеса, доведенный до крайности несчастьями Василий обещал принести эту жертву. После Абидоса и смерти Фоки решено было повременить с выполнением обещания. Василию казалось, что еще не поздно было исправить ошибку решения, принятого в таких ужасных обстоятельствах. Но вдова Фоки возобновила преступное дело своего мужа.

Теперь восставших повел Варда Склир. Снова в Азии запылал пожар мятежа. Болгары обрушились на Варрею, и в довершение всех бедствий Владимир осадил Херсонес.

На рассвете я явился во дворец, вызванный логофетом Фомой Арматолом. Накануне был созван тайный совет, на котором были приняты важные решения. Едва-едва светало, но лавки уже открылись, на улицах вкусно пахло свежеиспеченным хлебом, жареной рыбой, подгоревшим оливковым маслом. Со всех сторон спешили члены сената, церемонно приветствовали друг друга и продолжали путь к ипподрому, где они должны были ожидать приглашения во дворец. Некоторые ехали на ослах или на мулах, в сопровождении слуг. Еще с вечера улицы были украшены гирляндами лавра и олив, а земля посыпана древесными опилками. Слышно было в утреннем воздухе, как гремела повозка эпарха.

Маяк строителя Льва еще блистал мутным ночным светом на башне над храмом Богородицы Фары, последний огонь из длинной цепи сигнальных знаков, от столицы до сарацинской границы. Всякий раз, глядя на него, я почему-то представлял себе то волнение, которое охватило город ромеев, когда бесконечная цепь сигнальных огней по берегу моря, с холма на холм, передала в Константинополь известие о находке того дерева, на котором был распят Иисус Христос. Какое это было прекрасное торжество! Какие величественные мгновения!

Еще спали в утренней свежести сады и церкви, а в Буколеонском дворце уже начиналась церемониальная суeta. Служители гасили лампы и светильники, накрывая огоньки медными колпачками на длинных тростях. Приятно пахло гарью фитилей. У серебряной двери, ведущей во внутренние покои, как всегда, стояли светлоусые варяги, опираясь на свои страшные секиры. Да, сколько раз я видел на полях сражений ужасные раны, нанесенные этим варварским оружием, – отсеченные головы, раскрытые груди, из которых кровь выступала розовыми пузырями. Варвары равнодушно смотрели на нас, позевывая после бессонной ночи.

Ключарь, позвякивая связкой золотых и серебряных ключей, вместе с начальником стражи открывал двери, кивком головы отвечал на приветствия. Евнухи и облачатели-веститоры уже приступали к исполнению своих сложных обязанностей, шептались с озабоченным видом. Одни из них отправились в камору святого Феодора, чтобы взять там жезл Моисея, другие принесли пурпурный скарамангий и положили его, как некое сокровище, на дубовую скамью перед серебряной дверью. Они в трепете косили глаза на своего начальника, ожидая, когда тот тремя установленными церемониалом ударами постучится в святая святых и можно будет приступить к первому облачению автократора ромеев. Уже собрались все, кому надлежит находиться у серебряной двери. Люди, прикрывая рот рукой, переговаривались шепотом, передавали новости. Несколько раз я слышал: «Херсонес... Херсонес... Анна...»

За серебряной дверью послышался утренний мокротный кашель. Наступила тишина.

Ключарь Роман, маленький, заплывший жиром евнух с неприятными глазами, строго оглядывал собравшихся. Увидев меня, он побренчал ключами. К нему тотчас склонился служитель.

– Проводи спафария в камору святого Феодора, – сказал евнух, указывая на меня пальцем.

Служитель поцеловал руку ключаря и подошел ко мне. Вместе с ним мы вошли в лабиринт зал и церквей. В Илиаке и в ХризотрикLINE, изящнейшей зале с такими же аркадами, как в церкви святого Сергия и Вакха, стояли чины синклита в ожидании базилевса. Мелькнули прекрасные окна. Засияли огромные глаза Спасителя, скорбные от грехов мира. На возвышенном месте увидел три золотых трона, а под куполом, из которого лился утренний радостный свет, – золотой круглый стол. Служитель поднял завесу, и я очутился в каморе. На обитых красным бархатом скамьях сидели сановники, которым полагалось по церемониалу встречать здесь базилевса. Среди них я увидел знакомое лицо: магистр Леонтий Хризозефал улыбался мне и кивал головой. Он еще не потерял надежды выдать за меня последнюю из своих многочисленных некрасивых дочерей.

Так мы сидели, едва осмеливаясь обменяться словом. Где-то в глубине дворцовых зал уже началось торжественное шествие. Иногда до нас долетали приветственные кулики. Базилевс, облаченный в пурпурный скарамангий, накинув на плечи серебряный плащ-сагий, со свечой в руке, окруженный протекторами, шествовал из зала в залу.

– Говорят, опять не спал всю ночь, писал... – шепнул мне магистр Леонтий.

Я сочувственно покачал головой.

– А братец охотится в Месемврии... Вот уж именно, побрякушка и крест из одного дерева...

Вошел логофет и рукой пригласил нас соблюдать тишину. Приветственные клики приближались, росли. Мне стало трудно дышать. По лицам других я мог судить, что и они разделяют мои переживания. Вдруг служитель отпахнул тяжелую завесу. Бронзовые кольца со скрежетом скользнули по металлу. В арке появился автократор ромеев Василий. Мы пали ниц.

Я часто имел возможность встречать базилевса во внутренних покоях, получал от него приказания, видел, как он вкушал пищу, подставлял виночерпию чашу. Сколько раз я переписывал его письма, в которых говорилось о самых житейских вещах! Сколько раз я слышал, как переваривалась у него в желудке пища, как рыгал он, поев рыбы! Но теперь я лежал на прохладном мраморном полу, едва дыша от волнения. Мне казалось, что какая-то тайна совершается в это мгновение над нами, лежащими во прахе.

«Встаньте», – услышал я знакомый голос.

Мы встали. Ключарь, обернув краем красной хламиды руку, поднял ее, как дьякон поднимает перед царскими вратами орать при чтении великой ектении, и возгласил пискливым голосом:

– Веститоры!

Роман был смешон в своей красной хламиде, с огромным скиандием на голове, маленький, большеротый, тучный. Веститоры приблизились, держа в руках небесной голубизны дивитиссий, расшитый золотыми орлами. Веститоров было четверо, в плащах, откинутых за плечи, чтобы одежда не мешала движениям. Руки у них заметно дрожали.

– Приступим! – опять произнес папий.

Веститоры стали облачать базилевса. Торопясь и волнуясь, они завязали ему поручи, накинули на господина мира тяжелую от жемчужин и шитья хламиду. Потом подали базилевсу чашу для омовения и золотой кувшин. Базилевс омочил в воде руки, вытер их полотенцем. Лицо его было по обыкновению мрачно. Прекрасные дуги бровей были нахмурены. Голубые глаза метали молнии. Ни на кого не глядя, он сказал:

– Протосикрит!

Ведающий перепиской базилевса протосикрит Елевферий Харон приблизился с поклоном. Веститоры все еще сустились над широко разведенными руками базилевса.

– Что у тебя есть для оглашения?

– Письмо епископа Мелетия.

– Огласи!

Развернув трепетными руками послание, Харон стал читать письмо тем медовым голосом, какие бывают только у протосикритов. Как из тумана до меня доносились скорбные жалобы епископа.

– Злоба их замышляла отнять наше достояние, ибо они говорили: языком нашим пересялим. И вот, изблевав на нас яд аспидов, они возбудили против нас горечь в сердце благочестивого. Они переписывают каждую лозу наших виноградников и уменьшают длину измерительного вервия, ибо какая им забота о геометрии! Прекраснейшие храмы наши остались без церковного пения, уподобившись тому винограднику Давида, который сначала пышно расцвел, а потом стал добычей для хищения всех мимоходящих...



Я видел, что богоподобная душа базилевса возмущалась. Еще дымились развалины Верреи. Агаряне опустошали италийские владения. Варда Склир снова двигался на Абидос. Князь руссов осаждал Херсонес. Из Готии приходили печальнейшие известия, а тут не дают покоя со своими жалобами, хитросплетениями, клязумами епископы, евнухи, логофеты. Базилевс манием руки велел прекратить чтение. Сладкий голос умолк.

– Потом, потом, – сказал Василий.

У него не было ни одной свободной минуты. Надо было урвать время и рукоположить меня в сан друнгария, которого сарацины называют адмиралом. Только через рукоположение могла излиться на меня благодать святого Духа. Без нее ничего не совершается в государстве ромеев.

Василий поманил меня пальцем.

– Сколько кораблей готово к отплытию?

Едва сдерживая трепет под взорами многих людей, в эту минуту завидовавших моему возвышению, я объяснил благочестивому, сколько дромонгов стоит в Буколеоне, сколько хеландий нагружено сосудами с огненным составом Каллиника, сколько куплено италийских кораблей для перевозки пшеницы и оружия.

– Когда ты можешь отплыть?

– Через три дня, с помощью Иисуса Христа, мы можем поднять паруса.

– Торопись, спафарий, торопись! Каждый день дорог для меня...

Больше говорить не пришлось. И так уже церемониал нарушался житейскими заботами. Папий уже возводил глаза «горе», вздыхал, потому что на нем лежала обязанность, чтобы был соблюден тысячелетний порядок. А поговорить хотелось о многом, особенно о преступном небрежении капитана Евсевия Мавракатакалона.

Владимир, сей разоритель вертограда Божьего, сей волк, похищающий лучших овец нашего стада, сильно теснил в Херсонесе стратега Феофила. Десятки цветущих селений были разрушены, а Херсонес, богатейший город, владеющий такими быстроходными кораблями, такими обильными солеварнями и рыбными промыслами, изнывал в осаде. Только что были получены сведения, что руссы решили перекопать акведук, чтобы лишить осажденных питьевой воды. Было необходимо, не мешкая, подать Херсонесу руку помощи, а почти весь ромейский флот перешел на сторону Варды Склира, подкупленный его золотом. Но Василий все-таки решил снарядить оставшиеся верными корабли и отправить их в Готию. Согласно его плану, флот должен был прорваться в херсонскую гавань и доставить туда припасы первой необходимости, оружие и некоторое число воинов. Во главе этого рискованного предприятия он поставил меня.

Тут же была совершена моя хиротония, наспех, с сокращенным церемониалом. В соседних залах, полных сановниками, стоял глухой ропот голосов. Там ожидали с нетерпением появления базилевса.

– Логофет! – сказал благочестивый.

Логофет подошел, сложив руки, склоняясь в смиренном поклоне.

– Подведи ко мне спафария Ираклия!

В висках у меня застучало. Я приблизился, упал на колени, припал к пурпуровым башмакам, украшенным жемчужными крестиками. Щеку оцарапало золотое шитье дивитиссия. Базилевс накрыл меня, как на исповеди священник, парчовой хламидой, и в золотой тесноте я обонял запах священных одежд, пахнущих металлом и фимиамом. Благочестивый возложил на мою голову сухие костлявые руки и произнес:

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа... Властью, данной мне от Бога, посвящает тебя моя царственность в друнгарию ромейского флота и патриции. Встань, патриций Ираклий!.. Аксиос!

– Аксиос! Аксиос! – хором нестройных голосов повторили присутствующие.

Шествие продолжалось. По новому моему званию мне надлежало находиться в Оноподе, чтобы приветствовать там благочестивого с оруженосцами и драконариями. Папий сам повел меня по бесконечным лестницам и переходам, сокращал путь. В моих ушах звенело: «Аксиос! Аксиос!..»

Мы торопились, и толстенький Роман задыхался на винтовых лестницах. У меня была одна мысль – как бы не опоздать. Папий тоже волновался. Но вдруг мы услышали в одной из зал женский смех. Роман в изумлении остановился и раскрыл рыбий рот. По мраморному полу к нам навстречу бежал черный пушистый котенок, задрал хвостик, играя лапкой с золотым шариком. За ним гнались с радостными восклицаниями две девушки. На одной из них было пурпурное одеяние, присвоенное только рожденным в Порфире – императорском дворце. Другая была прислужница.

– Госпожа! – в ужасе всплеснул ручками евнух.

Это была Анна, багрянородная сестра базилевсов. Какая причина побудила ее выглянуть, как солнце, из укромного гинекея? Может быть, она возвращалась от утрени в одной из дворцовых церквей? Может быть, маленькое проказливое животное, на поиски которого она отправилась по лабиринтам зал и галерей, привело ее сюда? Так два корабля, затерянные в пустыне моря, вдруг встречаются в один печальный день в пути и расходятся навеки. Шумят снасти, волнуется прекрасная стихия, сияет солнце, а корабли удаляются друг от друга, уменьшается их величина, и корабельщики с печалью смотрят вслед, взволнованные мимолетной встречей. Что их ждет в бурной и неверной стихии? Неизвестные острова, где покачиваются при вздохах зефира пальмы? Нажива в далеком торговом городе? Смерть в пучинах?

Опомнившись, мы упали ниц. Когда мы поднялись, Порфирогенита все еще стояла перед нами и широко раскрытыми глазами смотрела то на евнуха, то на меня. Эти глаза были ослепительны! Глаза, унаследованные от прекрасной Феофано! Никогда в жизни я не видел таких огромных, таких черных, таких глубоких немигающих глаз! Они закрыли для меня пышную залу, мозаики юстиниановых побед, павлинов, знамена, весь мир. Я забыл, куда спешил, и не помнил, что происходит в мире. Мгновенья текли, как волны небесных рек, а мне хотелось бы, чтобы эти мгновенья продолжались вечно, остановились. Стоять так и смотреть! Перемешанная с сиянием рая, на меня изливалась бархатная чернота ее очей. Ангелоподобная, она явилась нам, как в сонном видении.

Прислужница, красивая девушка с румянцем на щеках, поймала котенка и принесла госпоже. Лицо Порфирогениты озарилось смущенной улыбкой.

– Госпожа, – опять воздел ручки евнух, – пристойно ли твоей особе находиться в сем месте?

Анна ничего не ответила, еще раз взглянула на меня, повернулась, ушла, скрылась за малахитовыми колоннами, с нежностью прижимая к груди пушистого котенка. Прислужница шла за нею и несла на ладони золотой шарик. А мне казалось, что ангелы поют в моем сердце...

– Скорей, скорей, – торопил ключарь, – как бы нам не опоздать к выходу.

Император шествовал, облаченный в голубой дивитиссий, неся бремя тяжелой от жемчужин хламиды. Препозит возложил на него диадему базилевсов. Гремели слова латинского гимна:

– *Annos vitae... Deus multiplied feliciter...*

Обширными залами Дафны, Августеоном и Октогоном, Триклином Кандидатов, залой Эскувиторов, мимо триумфальных мозаик, черных икон, светильников, изображений римских героев, со свечой в руке, в облаках фимиамного дыма, в ропоте восторженного шепота и в музыке органных гимнов базилевс шел в зал Лихны. Чиновник, посланный патриархом, уже возвестил благочестивому, что приближается «малый выход». В залах теснилась дворцовая охрана. Остиарии с золотыми жезлами в руках вводили к базилевсу магистров, патрициев, стратегов. Время от времени препозит возглашал громоподобным голосом:

– Повелите!

Шествие приближалось к залу под названием Онопод. Там находились: друнгарий городской стражи, друнгарий ромейских кораблей и меченосцы-спафарии, державшие в руках оружие базилевса. Уже плыл над головой благочестивого пурпурный балдахин, над которым покачивались страусовые перья, розовые и белые. Уже несли перед пастырем народов жезл Моисея и крест святого Константина. Уже присоединился к шествию протонатарий со всеми писцами, нотариями. Силентарии, призывая к тишине, поднимали жезлы. Иногда раздавался звучный и низкий голос препозита:

– Повелите!

Дыхание захватывало от этой пышности, от этого великолепия и силы. Из Триклина Эскувиторов несли велумы – старые римские знамена. Одни из них были увенчаны золотыми статуэтками Фортуны, другие орлами или простертыми руками. За орлами следовали знамена протекторов – драконы и лабарумы.

Служители квестора пели латинский гимн. Окруженный сенатом и воинами, с лабарумом Константина над прекрасной своей головой Василий показался наконец в Трибунале народу. Здесь встречали его представители партии Голубых, Великий domestik, обернув руку полкой белого плаща и обратившись лицом к базилевсу, трижды осенил его в воздухе широким и медленным крестом. Заглушая тягучую музыку органов, хоры гремели:

– Annos vitae...

– Многая лета! Многая лета! Тебе, автократор ромейский, служитель Господа...

Множество народу, серикарии, свечники, торговцы рыбой и водоносы, виноградари из долины Ликуса, каменщики, булочники, корабельщики и иноземцы подхватили напев.

Domestik в последний раз поднял руку для крестного знамения.

Хоры гремели:

– Смотрите, утренняя звезда восходит и затмевает свет солнца! Се грядет Василий, бледная смерть сарацин...

Звякали кадила. Впереди лежал усыпанный цветами путь в святую Софию. Среди народа я заметил босых и дырявые одежды. Но разноцветные хламиды патрициев и стратегов закрыли бедность. Хоры не умолкали:

– Многая лета... бледная смерть сарацин...

Я стоял почти рядом с базилевсом, и мне было жаль, что среди народа уже нет моего отца. Как был бы он счастлив, видя величие сына!

В святой Софии ждали появления благочестивого, насыпали в кадила фимиамных зерен, чтобы он мог совершать в алтаре каждение престола. Цирковые партии, Голубые и Зеленые, Красные и Белые, поочередно приветствовали базилевса кликами и гимнами. Но вся наша слава, все эти знамена и орлы, драконы и лабарумы, множество народу, хоры, римские шлемы протекторов, весь этот блеск православной империи, не могли для меня сравниться с сиянием прекрасных глаз Анны. Я понял, что теперь уже не будет для меня покоя ни на земле, ни на небесах, что мои дромоны и хеландии, губительный огонь Каллиника и христолюбивое оружие фем существуют только ради этих глаз. И по моему лицу медленно текли слезы.

Несколько дней ушло на оснастку кораблей и на приготовления к отплытию. Драгоценное на вес золота время было потрачено на препирательства с медлительным префектом арсенала, на бумажную волокиту, на переписку с domestikом. Ничего не было готово, ни сосудов с огненным составом, ни метательных машин. Лучшие корабли и корабельщики были у Варды Склира, не хватало рабочих рук, чтобы приготовить состав Каллиника. Василий не знал предела гневу. Многие в те дни были наказаны плетью, ползали, как побитые псы, у пурпурных кампаний базилевса.

У меня самого не было ни одного свободного часа. На рассвете я уже отправлялся в гавань, к Влахернам, где оснащали корабли. Там стучали молоты и топоры, пахло смолой, свежим деревом, коноплей, полотнищами новых парусов. С Божьей помощью флот все-таки снаряжался в поход. С тревогой я смотрел на эти прекрасные корабли и гадал о том, что ждет их в Понте. На корме и на носу у кораблей возвышались башни, с которых лучники мечут стрелы; мачты стояли посреди, как непоколебимые дубы; на хеландиях уже были установлены и прикрыты кожей от любопытных глаз соглядатаев медные трубы для метания страшного огня. Неужели может погибнуть в море такая красота?

В арсенале, у ворот которого днем и ночью стояла стража, в низких помещениях со сводчатыми потолками невыносимо для дыхания пахло серой. Глухонемые рабы (им отрезали языки, чтобы они не могли выдать тайну ромеев врагам) толкли в огромных каменных ступах химические составы, растирали на ручных мельницах селитру, носили в глиняных сосудах горную смолу. Лишенные языков, они быстро глохли и не слышали стука пестов или скрипа колес. Как в безмолвном аду они готовили для меня непобедимый огонь Каллиника.

Начальник арсенала Игнатий Нарфик, армянин, давно отказавшийся от монофизитской ереси, бледный человек с черной бородой, с хриплым голосом, испорченным зловредными испарениями, даже ко мне относился с подозрением. Но, присутствуя при работе, я узнал соотношение частей в огненном составе. В него входит сера, селитра, древесный уголь и горная смола в определенных пропорциях. Достаточно на одну унцию изменить пропорцию, и огонь становится бессильным, не причиняющим вреда. Но ни одного слова я не могу прибавить к сказанному.

Удостоверившись, что работы в арсенале идут полным ходом, я отправлялся к доместику, чтобы узнать, как обстоит дело с вооружением воинов, которых я должен был взять на корабли. Евсевий Мавракатакалон, обжора, стяжатель и ленивец, медлил, вздыхал, жаловался на болезни.

– Поменьше бы заботился о брюхе, – говорил я ему.

– Всё будет во благовремение, – отвечал он, тяжело отдуваясь после баранины. – Всё в руках Господа! Покров Пресвятой Богородицы охранит нас вернее всяких стен и кораблей.

Самые неприятные разговоры приходилось вести с казначеем протонотарием, от которого зависело получение денежных средств для нашего предприятия. В противоположность Евсевию он был худ, суетлив, обладал испорченным желудком, зловонным дыханием изо рта и скверными зубами. Этот интриган, способный на всякое зло, самовлюбленный и завистливый, возомнивший о своем уме более, чем следует, с низким недоброжелательством смотрел на мое возвышение, вредил при каждом удобном случае. К счастью, базилевс обратил в прах происки этого злобного человека. Исидор Антропон, логофет дрома, был жалким ничтожеством, и я обходился без его советов.

Так я метался целые дни, едва успевая съесть кусок, как будто я был не патриций, а простой поденщик. Василий мне говорил:

– Бей их жезлом! Сокруши им кости, но не медли!

Однажды он сердито посмотрел на меня и постучал пальцем по столу.

– Знаю, мне говорили... Читаешь стишки? Не до стихов теперь. Ногами растопчу риторику Демосфена и силлогизмы Аристотеля! Брошу в огонь легкомысленные произведения стихотворцев! Мне нужны воины, а не музы! Закрою все школы, отрежу языки болтунам, научу ромеев сражаться! Трусливые псы, возвращающиеся на свою блевотину...

И я грозил плетью, торопил, не зная покоя ни днем, ни ночью. Но иногда вдруг представлялась мне на мгновение зала малахитовых колонн, сияющие черные глаза, белые женские руки, прижимающие к лону черного котенка, золотой шарик, катящийся по мрамору пола. Я останавливался, прерывал речь, не договаривая слова.

– Что с тобой? – спрашивали меня.

– Ничего.

Люди многозначительно покашливали. Агафий уже; шипел, нашептывал что-то своим друзьям, змея, ползущая у ног господина. Даже Никифор Ксифий, с которым я в те дни делил труды, спросил меня однажды:

– Что с тобой, друг? Станный ты человек! Муж, наделенный крепостью в мышцах и разумом, осыпанный милостями благочестивого, а презираешь все радости жизни. Другие имеют жен, потомство, приобрели имения и слуг, а ты тратишь средства на переписку книг, как будто они могут заменить земные блага человеку...

– Книги и есть жизнь.

Но Никифор был решительно недоволен моим поведением.

– А вчера тебя опять видели на форуме с этим агарянином. Неприлично...

– С Сулейманом?

– Да. Что тебе надо от этого врага христиан?

– Мы беседовали о путешествиях. Сулейман знает наш язык. Рассказывал мне о Дамаске и Иерусалиме, об Индии. Это поэт, путешественник, астроном, любитель красивых вещей. Он даже совершил путешествие в страну шелка и риса. Станный народ живет там. Монеты у них с дырочками, чтобы нанизывать на нитку, а чашки не толще лепестка розы...

– Он лжет, а ты слушаешь, – с недоверием сказал Ксифий.

Работы по оснастке кораблей приближались к окончанию. Я был в гавани, наблюдал за смоловарами. Опять явился Никифор Ксифий в сопровождении каких-то иноземцев. Подойдя ко мне, шепнул:

– Это латиняне, прибыли из Рима по торговым делам.

Путешественников было трое: Лука Сфорти, юноша, вероятно, из богатой семьи, и два купца – Бенедутто и Джиованни. Молодой человек был в зеленой тунике до колен, в черном плаще. Голени его были обтянуты серыми тувиями, а на ногах прихотливо загибались длинные и острые носки желтых итальянских башмаков. На поясе висел черный бархатный кошелёк с дукатами. Маленькая черная шляпа с красным пером довершала его красивый, но непривычный для глаз наряд. Он был молод, румян, беззаботно улыбался среди чужих людей, красавец с длинными черными кудрями. Видно было по всему, что это расточитель отцовского имения, блудный сын. Купцы были старше его по летам и одеты более скромно, но тоже с тяжелыми кошельками у поясов.

Улыбаясь, юноша снял шляпу и непринужденно поклонился. Я стоял на истрепанном коврикe, который постилали мне на грязном помосте, когда я находился на пристани, патриций и друнгарий ромейского непобедимого флота. На моих плечах была старенькая потертая хламида, запачканная смолой. Но до красоты ли было в такое время. Меня занимали государственные мысли и заботы. У пристани рабы смолели огромный корабль. Он назывался «Жезл Аарона».

Наконец Никифор Ксифий, бывавший в Италии, знавший тамошние обычаи, любитель вина и греховного времяпрепровождения, сказал:

– Надо им показать наших красоток. Они люди молодые, у них кровь кипит от нетерпеливых желаний. Столько дней на корабле...

Сфорти смеялся, показывая белые молодые зубы.

– Пойдем сегодня в зевгмэ! – предложил Ксифий.

Я отстранил его рукой.

– Опомнись! Думать о подобных вещах в такое время! В нашем ли звании посещать блудниц! Предоставь это грубым корабельщикам...

Когда стемнело, мы надели плащи с куколями и, как воры, пробрались в запретный квартал, над воротами которого стояла древняя статуя Афродиты, символ человеческой гибели.

– Сюда, сюда, – указывал нам путь Никифор Ксифий.

Нагибаясь, мы вошли в маленькую дверь, у которой сидела тучная старуха и брала с входящих плату за право насладиться любовью. Чадили вонючие светильники. самого разнообразного вида люди, корабельщики и наемники дворцовых отрядов, гуляки с Мезе и пьяненькие купцы, сидели за столами и пили вино из глиняных кубков. Им прислуживали растрепанные женщины, смуглые, рыжие, белокурые, худые, толстухи, на все вкусы. Они наливали вино в кубки, садились к мужчинам на колени, и те грубо ласкали их, запуская лапы под одежды. Женщины смеялись. Иногда кто-нибудь из гостей вставал, манил пальцем одну из красоток и удалялся в освещенную фонарем галерею, в которой, как стояла для скота, были устроены загородки, завешенные грязными тряпицами, едва прикрывавшими убогие лежа и соломенные тюфяки. Женщина, шевеля бедрами, потягиваясь, лениво шла за своим случайным господином...

Мы сели за стол, и тотчас к нам подошли блудницы, расхваливая свою пылкость в любви. Старуха, подсчитывавшая медные фоллы, тоже оставила это занятие и поспешила к нам.

– У меня девочки, каких нет и у калифа в Багдаде, – говорила она, показывая во рту единственный зеленый зуб, – иверийки, персиянки, иудейки, франкские женщины, рабыни из Скифии. Останетесь довольны!

– Потом, потом, – отмахивался Ксифий, – мы не торопимся. Сначала дай нам самого лучшего вина.

Он был легкомысленным человеком, глаза у него горели. У молодого итальянца тоже раздувались ноздри. Женщины, оценив молодость и кошелек иностранца, умильно улыбались ему, приглашая удалиться в галерею.

– Успеешь, – остановил его Ксифий, – лучше выпьем вина, побеседуем.

Итальянец покорился, выпил залпом кубок вина и поморщился.

– Что у вас за манера подмешивать в вино вонючую смолу!

– Это полезно для желудка, – сказал Ксифий.

– Но отвратительно на вкус.

– Да, – вмешался один из итальянских купцов, – сказать откровенно, наше небо не привыкло к таким напиткам.

– А рыбный соус! – сказал Бенедетто, полный человек с бритым, как у скопца, лицом, – ваша кухня наполняет зловонием весь город. Как вы можете есть такую гадость? Нас угощали у легатория: баранина в вонючем рыбном соусе с чесноком и луком! Умереть можно от отвращения!

– Это ничего, – отозвался Ксифий, – но жить у нас действительно скучновато. Хорошо в Италии. Музыка, застольные песни, тут же сидят женщины! Красавица бросает розу с балкона, а молодой человек прижимает ее к устам. А у нас женщины томятся, как в тюрьме, в гинекеях. Скучная жизнь! Чуть что, сейчас плети. За любую вину – ослепление.

– Смотри, не ослепили бы тебя за такие речи, – предостерег я друга.

– Плети и у нас бывают, – рассмеялся бритый купец.

– Может быть, для смердов, а не для благородных людей, – заметил Ксифий.

Молодой итальянец уже был пьян. Стукнув кулаком по столу, он заявил:

– Никто не смеет коснуться пальцем благородного воина! Это не то, что у вас. Вам псалмы петь, а не носить меч. Хитростью и лукавством вы поднимаете на свою защиту варваров. Воюете при помощи наемников.

Ксифий нахмурился.

– Поражали и мы полчища сарацин, испепеляли русские флоты.

– Подумаешь, велика честь побеждать греческим огнем варваров, – не унимался Сфорти, – вы попробуйте сразиться с ними в открытом поле! Они вам покажут!

Ксифий вскочил и с ненавистью посмотрел на латинянина. Разговор превратился в пьяную ссору. Мы и заметить не успели, как вино отуманило наши головы. Ксифий кричал:

– Не важно, какими способами достигается победа! Оружием или хитроумием логофетов. Важно, для чего проливается кровь. Ромеи проливают ее ради истинной церкви. Мы – ромеи, сиречь римляне!

– Какие вы римляне, – не уступал юноша, – вы вонючие греки, а не римляне. Это мы римляне, и наш господин – император священной римской империи!

– Вы не римляне, а ломбарды, франки, саксы.

– Пусть! Но тогда для нас «римлянин» ругательное слово. Символ трусости, лжи и хитрости.

– А вы будете гореть в геенне!

– Это вы будете гореть и щелкать зубами, глядя, как мы наслаждаемся в раю. Ваш патриарх носит паллий по милости папы. Захочет папа...

– Ну, потише, – наступал Ксифий, – скажу кому следует, и вас бросят в темницу.

– Подумаешь, герой! – не отставал итальянец, – любому варвару готовы продать своих принцесс.

Он намекал на переговоры с русским князем. Об этом говорил весь город.

– Еще посмотрим!

– А болгарам вы не отдали дочь Христофора?

– Во-первых, она не была Порфирогенитой, во-вторых...

– Во-вторых, вы все лжецы и обманщики. Все ереси от вас...

Я был пьян, как последний корабельщик. Обняв голову руками, я сидел за столом и не находил слов, чтобы достойно ответить заносчивому мальчишке. Что он знает о римлянах! Где ему понять величие нового Рима! Не станет нашего Рима, и вечная ночь наступит на земле! Но врата ада не одолеют церкви! Может быть, скоро затрубят трубы ангелов, и тогда мы будем вознаграждены за наши страдания...

К ссоре прислушивались другие посетители. Какой-то пьяный человек подзадоривал рыжеусого наемника:

– Пойди и ударь его в харю!

Но опытная в таких делах старуха уже шептала своим девчонкам, показывая на нас пальцем. Полная женщина охватила юношу руками, привлекала к себе.

– Идем со мной! – звала она. – К чему эти споры?

Ее бесстыдно короткая одежда обнажала полные белые ноги. Она была соблазнительна.

Ксифий вцепился в нее. Итальянский юноша не отпускал добычу, плакал пьяными слезами. Другие женщины тормозили осовевших купцов. Я смотрел на эту суету помутневшими глазами и повторял:

– Анна! Анна!

Ко мне приблизилась смугловатая блудница, почти девочка, с ослепительными зубами. Ресницы ее дрожали. Я услышал шепот...

– Пойдем!

– Куда? Оставь меня, мне хорошо здесь! Анна! Анна!..

– Пойдем, – настаивала она, – что ты говоришь? Меня зовут не Анной.

– Как же тебя зовут? – спросил я заплетающимся языком.

– Тамар.

Тамар – значит пальма. Стройное дерево, покачивающееся от дуновения малейшего ветерка. Тамар...

Мне было хорошо, грустно от вина, оттого, что я губил свою душу, оттого, что у меня не было никакой надежды на спасение. Казалось, вино сняло с меня все путы. Тоненькая Тамар влекла меня куда-то, и я покорно шел. В лупанаре кричали и шумели люди: кувшин, брошенный каким-то забиякой, с грохотом ударился о стену и разбился на мелкие черепки...

– Идем, идем, – шептала Тамар.

В проходе, в который выходили каморки любви, за жалкими занавесками слышались стоны и вздохи страсти.

– Не здесь, не здесь, – сказала женщина и увлекла меня на темный двор.

Мы очутились в каком-то вонючем помещении. Под ногами шуршала солома. Может быть, это был хлеб. Или курятник? Вокруг стояла крошечная тьма, в этой темноте я ловил ноги и перси девчонки. Черные глаза и длинные ресницы Тамар напомнили мне что-то знакомое, какой-то сон. С невыразимой нежностью я гладил ее щеки и плечи. Испуганная неожиданной лаской Тамар прижалась ко мне...

– Что с тобой? Что с тобой? – повторяла она.

На рассвете я покинул ее, утомленную любовными ласками. Горбясь и скрежеща зубами, я прошел галерейкой и спустился в вертеп. В лупанаре пахло кислым вином и человеческой блевотиной. Под столами храпели пьяные корабельщики. Ласки Тамар теперь казались мне омерзительными, женское тело – повапленным гробом, полным гниения. За что мы любим его, потное и влажное? Какая сила влечет нас к нему, не омытому после отправления естественных надобностей?

Как вор, оглянувшись по сторонам, я вышел на улицу и направился домой.

Наконец, посадив на корабли 600 воинов, – это было все, что мог дать domestik схол, – погрузив военные припасы, сосуды с огнем Каллиника и 2 000 медимнов пшеницы, на тот случай, если были пусты зернохранилища осажденного города, вознеся молитву Господу, сотворившему небо, землю и морские воды, мы подняли паруса и вышли проливом святого Георгия в страшное море – Понт Эвксинский. Семь дромонев, пять хеландий и два корабля, купленных у венецианцев, полетели на одоление врагов.

Меня провожали напутственными речами и благословениями. Накануне отплытия базилевс принял меня и разъяснил, как я должен был поступать во всех вероятных случаях. Димитрий Ангел стоял на пристани и долго махал мне рукой. Озаренный Авророй купол святой Софии, розовый и совершенный, уплывал в облака. Одна за другой скрывались башни, купола, здания.

Корабли медленно прошли мимо Диплоциониума, и вот уже свежий ветер наполнил упругим дыханием огромные паруса. Я шел на первом дромоне. Его имя было «Двенадцать Апостолов». Паруса его были красные, и на корме трепетала пурпурная хоругвь с образом Пресвятой Богородицы, Охранительницы наших стен и кораблей. На помосте стояли мои спутники – магистр Леонтий Хризоксфал, с которым не разлучала меня судьба, и вновь назначенный стратегом понтийской фемы патриций Никифор Ксифий, которого я упросил послать в Херсонес, чтобы заменить меня, если суждено было мне погибнуть преждевременно. Иерей в золотом облачении сжимал тонкими пальцами серебряный крест; диакон, держа в одной руке кадило, другой поднимая орану, произносил великую ектению. Корабельщики грубыми и нестройными голосами пели: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!»

Позади двигались другие корабли, и с них тоже доносилось пение в ответ на наши молитвы. Огибая пустынный мыс, шли за нашей кормой величественные дромоны: «Жезл Аарона», «Святой Иов», «Победоносец Ромейский» и другие.

Корабли шли семь дней и семь ночей. Чтобы сократить путь, мы не придерживались обычая торговых кораблей плыть вдоль западного берега, мимо Месемврии и устьев Истра, а повернули на восток, миновали Гераклею и Амастриду, которую называют Оком Пафлагонии, и у мыса Карамбиса пошли на полярные звезды, перерезая Понт, пользуясь светилами небесными, как предписано для мореплавателей в Альмагесте. Путь был рискованный, чреватый бурями, но мы положились на волю Господа, вручили ему наши трепетные души.

Прекрасны черно-синие воды Понта! К счастью, еще далеко было до периода бурь, и мы не испытывали в пути никаких затруднений. Каждый день о. Фома служил на походном анти-



минсе литургию, и мы причащались Святых Тайн. Ветер был попутный, дромоны бороздили море, и корабельщики гадали о том, когда покажутся на горизонте далекие берега Готии. На меня была возложена трудная задача. С того часа, когда скрылось за кормой последнее видение земли, мне стало страшно. Только теперь я понял всю безрассудность нашего предприятия.

В пути мы часто беседовали с магистром Леонтием и Никифором о трагическом положении мира. Леонтий, посевший на государственной службе, хорошо знал о положении дел в Готии, Скифии и Хазарии. В прошлом году он возглавлял посольство, отправленное в тяжелую минуту к русскому князю. Минуя пороги и угрозы кочевников, Леонтий поднялся по Борисфену в Самбат, подсчитал силы союзников, осмотрел их города, и мы теперь с особым интересом расспрашивали старика о его путешествии, о князе руссов, о Херсонесе.

Этот город был ключом событий и главной темой наших разговоров. В существовании ромеев он всегда играл огромную роль. Отсюда мы получаем в большом количестве дешевую соленую рыбу, которой кормится бедное население столицы, соль и необходимых для нашей конницы коней. Херсонес является тем местом, где скрещиваются торговые пути из Азии к франкам, из Скифии к берегам Понта. Этими дорогами пользуются с необыкновенной предприимчивостью русские, хазарские и сарацинские купцы. Лады, караваны верблюдов, повозки, запряженные медлительными волами, везут товары. Из глубины Азии сюда привозят шелк Серика, индийские специи. Отсюда караванные дороги лежат на запад, в каменный славянский город Фрагу, в Саксонию, в латинские города на Рейне. Большую роль в этих торговых операциях играют иудеи, изгнанные из наших пределов, стекающиеся из азийских провинций в Хазарию. С ними соперничают в предприимчивости русские купцы. Они доставляют товары в Херсонес и в Константинополь, а на обратном пути останавливаются в Самакуше или спускают по Танаису в хазарский город, в котором среди верблюжьих шатров стоит дворец кагана, платят ему десятую часть и входят в Хазарское море. Переплыв его, они выходят на персидский берег и, погрузив меха и кожи на верблюдов, доставляют свои товары в Багдад. Из Багдада они везут в Скифию цветные материи, финики, смоквы и рожцы.

Но в степных пространствах царит хаос, движутся кочевники, торговля замирает. В связи с торговым кризисом беднеют приморские города. Понимая важность мировых сношений, Владимир прилагает все усилия, чтобы сделать караванные дороги безопасными.

На севере лежат его необозримые владения, русские реки, бревенчатые города. Там пахари сеют жито, рыболовы ловят сетями рыб, охотники живут звериными левами, пчеловоды разводят пчел.

О том, что происходит в этих лесах и топях, мы знаем только по рассказам путешественников или из фантастических описаний древних авторов. Иногда, подобно хищным волкам, неуловимые флоты русских челнов однодревек спускались в Понт, разоряли Амастриду, появлялись под самыми башнями нашего великого города. Но ромеи с помощью Пречистой Девы поражали их огнем Каллиника, и бури топили утлые челны варваров в черных пучинах Понта.

Теперь народы с удивлением произносили имя Владимира.

Леонтий рассказывал нам о нем любопытные подробности. Князь был сыном того скифского героя, с которым сражались Варда Склир и Иоанн Цимисхий. Русского льва убили на порогах кочевники, сделали из черепа чашу, оковав его серебром, и пили из этого странного сосуда на пирах хмельное молоко кобылиц. Матерью Владимира была простая женщина по имени Маклуша, прислужница его бабки Ольги. О церемониале этой замечательной правительницы я читал в «Книге церемоний».

Под свист ветра в корабельных снастях и под шум волн Леонтий рассказывал нам о событиях, которые совсем недавно происходили в Скифии. Великий мизантроп, особенно ненавидящий варваров и латинян, магистр с опасением говорил о грандиозных планах Владимира. Мы спрашивали:

– Не от латинян ли принял крещение русский князь?

– С какой целью посылает папа посольства в Самбат?

Жизнь Владимира была полна приключений. После смерти Святослава осталось три его сына: Ярополк в Самбате, Олег в дикой стране древлян, Владимир в Новгороде.

Самбат руссы называют Киевом. Земля древлян находится в западных лесах и топях. Новгород – богатый торговый город на пути в страну, где живут варяги.

Ярополк убил Олега и захватил его земли. Тогда Владимир бежал к Олафу, чтобы собрать у него отряды варягов. Вернувшись с наемниками, он пошел в Новгород и с новгородскими воинами напал на Полоцк, где правил Рогвольд. Владимир хотел взять в жены его дочь Рогнеду.

Отец красавицы заперся в городе и сказал:

– Не боюсь новгородских разбойников!

Рогнеда на слова о любви ответила с бревенчатой стены:

– Не хочу развязать обувь у сына рабыни!

Представьте себе эту дикую любовь, дубовый частокол варварского города, костры становища, белые рубахи воинов, плач кукушки, запах леса и красавицу с белокурыми косами на бревенчатой башне!

Страсть Владимира была сильнее городских укреплений. Полоцк был взят. Рогвольд убит секирой, гордая девушка развязала обувь у сына рабыни.

Кукушки плакали в этой печальной стране, шумели дубы, а Владимир занял Самбат, осадил Ярополка в Родне, убил брата. Потом воевал с ляхами, присоединил к своим владениям многие города у подножия Карпат, ходил войной на болгар. Воинов против них он водил на ладьях, а конницу союзных кочевников берегом. Оказывал он помощь и тем болгарам, что вели войну на Истре с ромеями, а теперь осадил Херсонес.

Мир представлялся мне в те дни таковым: Варда Склир поднял руку на базилевса. Развалины в Веррее дымились. Херсонес изнывал в осаде. В гинеее сияли глаза Анны...

Корабельщики расстилали нам на помосте ковер, и мы беседовали о страшных делах мира: магистр Леонтий, Никифор Ксифий, я и библиотекарь херсонского епископа монах Феофилакт, книголюбец, тихий и кроткий человек, мечтавший о монастырях Афона. Застигнутый событиями в Константинополе, но опасавшийся за судьбы своих книг, он теперь воспользовался случаем и бесстрашно возвращался в осажденный город.

Леонтий говорил:

– Все человеческие дела имеют своим побуждением жадность, сребролюбие. Золото – кумир людей. Из золотого тельца они сделали бога. Нажива заставляет купцов пускаться в опасные путешествия, продавать христиан, обманывать, обвешивать. Торговые дела для них важнее небесных путей. Такова жизнь... Все остальное – химеры. Как на песке, на них нельзя строить здания...

Я не выдержал и прервал магистра:

– Ты прав, такова жизнь... Но все-таки есть нечто более важное, чем нажива торгаша. Сколько раз ромеи проливали кровь ради высоких целей. Читай у Георгия Амартола, какая радость овладевала ромейскими сердцами, когда удавалось вырвать из рук неверных тунику Христа или жезл Моисея! Разве не поднялись бы мы все как один против нечестивых агарян за освобождение Гроба Господня? Только тот народ достоин иметь место под солнцем, который ставит перед собой великие задачи, а не заботится лишь о хлебе насущном.

Феофилакт, бородатый, как Аристотель, грустно улыбался. Его мысли всегда были печальны.

– А как быть со слезами вдовиц и сирот? С ростовщиками, притесняющими бедных? Однако никто не заботится об этом.

– Потому что, – вмешался Леонтий, – надо торговать, строить корабли, охранять границы, покупать мечи варваров. Золото не знает ни границ, ни религий. Сегодня оно в златохранилище базилевсов, завтра в руках у хазарских каганов, потом в Багдаде. Оно струится,

как река, течет меж пальцев, заставляет людей вставать на заре, отправляться в дурную погоду в путь, на котором их поджидают, может быть, разбойники и воры.

– И никто не знает, когда пробьет смертный час, – вздохнул Феофилакт.

– Как же обойтись без купцов, – простодушно отозвался Ксифий, – у одних есть рыба и нет соли, чтобы ее посолить, у других есть просо и нет горшка, чтобы сварить пищу.

Все были правы. Все нужно в том потоке времени, который мы называем жизнью, – горшок, предприимчивость купца, соль. Но, слушая Феофилакта, я понимал, что дело не только в горшке.

Монах продолжал:

– Взгляните, что происходит в мире! С бедняка дерут три шкуры, а богатый овладевает его жалким достоянием...

– Это так. Насильников надо покарать, а несправедливых лишить возможности приносить людям зло. Я не о том говорю. Ведь ты сам плывешь же в осажденный город, чтобы спасти книги...

Но Феофилакт не слушал меня.

– Сборщик податей, пользуясь простотой поселянина, берет с него лишний фолл. А люди ослепли от слез... Где же справедливость?

Он был прав, конечно. Золото, нажива, несправедливость. Небеса мы презрели ради земных забот. Я сам видел это на каждом шагу. Но чего-то не хватало в циничных суждениях магистра и в печальных жалобах Феофилакта. Я бродил в умозрительных потемках, нащупывая дорогу. Сделаем такое построение: Мир лежит во зле. Бессмертная душа обросла щетиной. Люди подобны свиньям, обступившим корыто. Но есть Бог – мера всех вещей. То, что возвышает человека над печалью жизни...

В мире происходит трагедия человеческого существования. Я закрыл лицо руками и не знал, что ответить Феофилакту. Одно было ясным для меня: самое важное – душа, бессмертное подобие Божества на земле. Как уберечь ее в этом море страстей и страданий? Вот стоит на недостижимой высоте гора Афон. Люди уходят на нее, чтобы спасти свою душу. Уйти туда? Оставить мир погибать, покинуть в трудную минуту базилевса, товарищей по оружию? Нет, будем тянуть ярмо, пока хватает сил. Если мир не хочет измениться, пусть останется таким. Пусть жадные думают о наживе, раболепные ползают на брюхе, слабые плачут. Когда-нибудь и их поразит гнев справедливости. Не ради них мы страдаем, а ради великой цели, ради того, чтобы небеса озаряли светом землю, грубую и жалкую.

– Да, пусть плачут! Наши страдания на земле – временны и преходящи. Что боль? Важно не самое страдание, а цель, ради которой его претерпевают. Страдания всегда на пользу христианину. Нельзя без страданий служить великому делу...

– А где же завещанная нам милость к падшим и убогим? – спросил с мягкой улыбкой Феофилакт.

– Пусть страдают! И бедные, и богатые, – сказал я в сердцах, – сейчас нам не до них. Ты видишь, все рушится под нашими ногами! Что представляет собой жизнь людей? Жрут, спят, торгуют, удовлетворяют свои естественные потребности, рыгают, сплетничают и хрюкают у корыта, а уверены, что они – венец творения.

– Жестокое у тебя сердце, патриций!

– А почему же они не хотят оторваться от корыта с помоями? Почему они не желают напрячь мышцы и стать в наши ряды? Только воины достойны преклонения. Помнишь, Никифор Фока требовал от церкви, чтобы были причислены к лику святых все павшие на поле битвы? Церковь отказала ему. Епископы говорили, что среди павших были грешники и, может быть, даже еретики. А по-моему, кровь смывает все грехи. Подвиг воина, отдавшего свою жизнь за других, выше, чем молитвы постника. Слишком высока цель, за которую мы проливаем кровь.

– Какая цель?

Мне трудно было объяснить Феофилакту обыкновенными словами то необыкновенное, что представлялось мне, когда я думал о великом. Димитрий Ангел выразил бы это лучше, чем я.

Я не привык принимать участие в спорах, но, сделав усилие, сказал:

– Цель наших страданий, чтобы не погас на земле свет небес, чтобы человеческая душа внимала громам небесным. Предположим, что все несправедливости разрешены, все люди сыты, нет бедных, слепым возвращено зрение, а безногим способность ходить. Этого мало для души. Если не будет у них в душе беспокойства, то какой прок в этих людях? Лучше страдать, чем жиреть в благополучии...

– Жестокое у тебя сердце, – повторил Феофилакт.

– Человеческие слабости сделали его жестоким.

– Надо пожалеть слабых...

Никифору стало скучно. Блаженно потягиваясь, он зевнул и проговорил сквозь зевоту:

– Хотел бы я знать, что происходит теперь под стенами Херсонеса. Только бы не опоздать. Монах вздохнул и отошел. Я кинул ему вслед:

– А они нас жалеют, когда мы погибаем?

Уже корабли приближались к цели путешествия. По ночам я стоял на помосте и всматривался в небесные светила. Думал ли я, изучая астрономию в обсерваториях Трапезонда, что это знание может пригодиться мне для вождения кораблей!

Звезды сияли. Я без труда находил среди них Колесницы. Проводя по своду небес умственные линии, я определял Полярную Звезду. На нее мы держали путь, она стояла над Херсонесом.

Звезды вращались в эфирных сферах, бледнели к утру. Глядя на них, я спрашивал себя: что двигает моими поступками? Корысть, честолюбие или помысли о вечном спасении? Даже наедине с собой я не находил ответа.

Все человеческие слабости мне не чужды. Почему же я укоряю других?

За что? За то, что они трусливы, дрожат за свою жизнь, боятся больше всего на земле смерти. Я не боялся смерти. Чем дольше я жил, тем яснее было для меня, что важна не сама жизнь, а то, ради чего живешь на земле. Вместе со звездами сияли глаза Анны. И опять я не знал, несчастье или радость упали на меня вместе с этими глазами? Покой был потерян навеки. Но была такая сладость в этом беспокойстве, что я готов был благодарить небо за ниспосланное мне страдание.

На следующее утро меня разбудил топот босых ног над головою. Я спал, утомленный ночным бдением, а наверху слышались взволнованные крики. На лестнице сначала показались черные башмаки магистра, потом его толстое брюхо, потом Леонтий наклонился и сказал:

– Проснись! Уже виден берег Готии.

На кораблях царило волнение. Корабельщики взобрались на мачты и указывали руками в ту сторону, где лежал Херсонес. Узкая полоска земли показалась на горизонте. Берег приближался. Мы смотрели на него со страхом и надеждой. Уже можно было различать некоторые подробности. Нас, очевидно, отнесло на запад. Слева видна была в красных скалах Гавань Символов. Скалистый мыс Парфений далеко выдавался в море. Правее должен был находиться Херсонес. Но его еще не было видно за мысом. Остров святого Климента медленно выплывал нам навстречу. И вдруг показались очертания городских стен.

Но, увы, мы опоздали! Над городом поднимался черный столб дыма. Обладающие пронзительным зрением корабельщики спорили на мачте о том, что горит. Потом они определили, что это пылает базилика святой Софии. Было очевидно, что город в руках варваров, этот «прекрасный и сильный город», с высокими башнями и каменными стенами, протянувшимися на расстояние пятидесяти стадий.

Пока я, подобно пророку Даниилу, обличавшему сильных мира сего, препирался по поводу сосудов с огнем Каллиника с Евсевием Мавракатакалоном, с этим нерадивым и невежественным человеком, не умеющим отличить йоту от ипсилон, пока я разбивал козни интригана Агафия, готового всячески оклеветать меня перед базилевсом, Херсонес пал. О подробностях событий я узнал потом от монахов острова святого Климента и от жителей готского побережья.

Как меняется лицо земли. Некогда этой стране угрожала Хазария. На берегу Меотиды были хазарские города, в которых происходила торговля с кочевниками. Готские Климаты платили дань кагану. Хазарские принцессы выходили замуж за базилевсов, пока каган не обратился в иудейство. Эти смуглые красавицы привозили к нам азиатские одежды и моды, золото и дурные манеры. Со всех сторон напирала на хазар кочевники. В царствование императора Феофила хазарский каган Иосиф обратился к ромеям с просьбой прислать ему искусных строителей, чтобы поставить на Танаисе каменную крепость для защиты от набегов. Базилевс послал протоспафария Петрону Коматиру с некоторым числом каменщиков. На пути из Хазарии протоспафарий побывал в Херсонесе, а по возвращении к базилевсу рассказал о положении вещей в Готии и советовал не доверять херсонским архонтам и учредить в Херсонесе фему. Фема была образована. Первым стратегом ее был сделан Петрона Коматира. Готия, освободившаяся из-под власти хазар, тоже вошла в состав фемы под названием «Готских Климатов». Но могущество хазар погибало под русскими мечами. Крепость, построенная Коматирой, была разрушена. Столица государства, Итиль, доживала свои последние дни – восточный город с дворцом кагана среди войлочных шатров, синагог, мечетей и вонючих базаров.

Около ста лет тому назад, когда в здешних местах побывал философ Константин, посланный в Хазарию на прение о вере, были обретены в Херсонесе мощи святого Климента, третьего епископа Рима. Их открыли на маленьком острове в шестидесяти стадиях от Херсонеса. У этого острова мы бросили якорь.

Здесь уже успели побывать варвары. Церковь была осквернена, малая киновия, в которой жили монахи, разграблена, орудие мученической смерти святого – якорь – похищено. Не было ни монахов, ни пения, ни священных предметов. Все было разорено, ветер гулял в пустой церкви. Серебряный ковчег, в котором хранилась голова святого Климента, исчез. Но и в поругании место оставалось святым. Воины и корабельщики выходили на берег, целовали священную землю и грозили кулаками варварам на готском берегу. Там уже должны были заметить наше появление и надо было наметить порядок действий.

Прощаясь со мной, Василий сказал:

– Если Херсонес падет до твоего прибытия, возвратись ко мне. Но если представится удобный случай завязать переговоры, не отвергай варваров. Леонтий знает, о чем говорить.

Я догадывался, какое тайное поручение было доверено магистру. Речь шла, чтобы отдать варварам Анну.

Сомневаться в том, что Херсонес пал, не приходилось. Одна из наших хеландий была у самого берега, и корабельщики видели множество варварских воинов, входивших в городские ворота. Сии разорители вертограда Божьего овладели городом.

Уже давно Херсонес находился в упадке. Русские владения были близко – доходили до устья Борисфена. Прекрасные херсонские стены, сложенные из желтоватого камня, что давало повод хазарам называть эту твердыню «Желтым Городом», стояли нерушимо, но воинов насчитывалось в его ограде мало. Жители всегда считали, что они живут не в городе, а в темнице, потому что за стенами было небезопасно. Даже в самом Херсонесе некоторая часть жителей была варварского происхождения. Многие из них были пришельцы из русских владений.

Уже за неделю до того, как варвары стали разорять Готию, появились в городе беглецы с солеварен и рыбных ловов. Они рассказывали о тех ужасах, которыми сопровождалось нашествие варваров. Стратег Феофил Эротик, в распоряжении которого была малая горсть воинов,

раздал жителям оружие из городского арсенала и решил запереть ворота, надеясь, что руссы не обладают искусством осаждать города.

Тогда только что расцвели миндальные деревья, зазеленели лозы на виноградниках, смолились корабли для открытия навигации.

Однажды вечером запыхали дальние дороги. Ночью запылало зарево над захваченным селением. Владимир подходил к городу со стороны Гавани Символов. Скрипели возы, ржали кони, кричали верблюды. Первые костры загорелись в русском лагере.

Ту трагическую ночь херсониты провели без сна. Церкви были переполнены молящимися, а утром жители, стоя в безопасности на стенах, увидели варваров. Руссы подошли к башням на расстояние полета стрелы, но ничего не предпринимали. С удивлением они смотрели на каменные башни, которые казались им творением циклопов в сравнении с их жалкими бревенчатыми оградами. Ни в одном ромейском городе, кроме Константинополя и Салони, не было таких мощных стен. Вход в порт тоже был защищен башнями и прегражден железными цепями. В тот же день Владимир послал к стратегу пленных ромеев с предложением сдать город. Феофил Эротик ответил отказом. Жители кричали со стен:

– Уходите, пока мы вас всех не истребили! Подождите, придут ромейские корабли с войнами благочестивого!

Тогда варвары пытались разбить бронзовые ворота бревнами, но их отогнали стрелами и некоторых убили.

Начались тревожные дни осады. С городских стен было видно, как горели костры в лагере варваров, как они жарили туши быков, пировали, пели гимны и поднимали рога с вином. Но скоро все вино было выпито, и варварам стало скучно. В городе же было достаточно соленой рыбы, чтобы продержаться год.

Тогда Владимир решил взять город, присыпая к стенам землю, чтобы по этой насыпи можно было подняться на стены. Однако его воины вели осадные работы неуклюже: работали только днем, под стрелами, ночью уходили спать в лагерь, а ромеи, стараясь не шуметь и сделав в стене тайный проход, уносили в кошницах землю в город, и там, на площади, с каждым днем все выше и выше рос земляной холм. Утром скифы просыпались, смотрели на город и не могли понять, почему насыпь не может достигнуть крепостных зубцов.

Христиане в их рядах говорили:

– Это христианский Бог помогает грекам!

Владимир грозил:

– Буду стоять под стенами три года!

Но нашелся в городе изменник. Это был пресвитер Анастасий, предатель рода человеческого, Иуда, польстившийся на тридцать скифских сребреников. В сообщничестве с каким-то херсонитом, имя которого мне не удалось установить, хотя по этому поводу я и производил тайное расследование, он решил войти в сношения с Владимиром. Эти достойные секиры богоотступники пустили в лагерь руссов стрелу с письмом. В письме было указано, с какой стороны проходили трубы подземного акведука и на какой глубине. Они советовали варварам разбить трубы и перенять воду, чтобы принудить жителей сдаться по причине жажды.

Измена и предательство любят ночной мрак, темноту, покров тайны. Я отчетливо представлял себе, как это случилось. Над сонным городом стояла звездная ночь. Анастасий и его сообщник, в плащах с куколями, пробрались по безлюдным улицам на городскую стену. Воины на башнях спали, склонившись на копья. В тишине плескалось море... Послышался взволнованный шепот... Дрожащая рука изменника натянула тетиву тугого лука...

Со свистом оторвалась стрела и полетела в ночную темноту, в ту сторону, где был расположен лагерь варваров, на месте разоренного виноградника. Она лежала до утра на грядке с растоптанными лозами, оперенная птичьим пером, окованная железом легкая тростинка –

символ страшного поворота истории. Казалось, не будь этой стрелы, и стояли бы нерушимо крепкие стены ромейского города. Но маленькая стрела повернула огромное колесо истории.

Два человека, крадучись и прижимаясь к стене, спустились в город. У Кентенарийской башни они расстались и разошлись в разные стороны. А утром какой-то варвар, потягиваясь после сонной ночи, увидел стрелу, поднял ее, чтобы положить в свой колчан, и заметил кусок пергамента, на котором были написаны непонятные для него знаки. Не зная, как с нею поступить, он отнес стрелу к своему князю. Княжеский белый шатер стоял среди оливковых деревьев. Какой-нибудь пленный ромей, которого держали в лагере для выполнения различных работ, прочел им греческое письмо.

Почему в ту ночь я не был там? Воины не спали бы, если бы я был начальником стражи.

Акведук шел с восточной стороны. На расстоянии двадцати стадий от города находился источник, из которого по глиняным подземным трубам вода струилась в херсонские цистерны. Найти трубы по указаниям в записке Анастасия не представляло большого труда.

С ужасом увидели херсониты, что больше не наполнялись водой городские водохранилища. Напрасно они смотрели в сторону Понта – ромейские корабли не приходили.

Прошло три дня. Люди в Херсонесе стали походить на путников в знойной пустыне. Жители питались главным образом соленой рыбой и невыносимо страдали от жажды. Не выдержав мук женщин и детей, они решили сдать город.

– Лучше смерть от секиры, чем от жажды!

Человеческие голоса стали хриплыми, как рев зверей. Гортани пылали.

– Воды! Воды! – умоляли женщины.

Мычал скот. Плакали дети...

А варвары показывали в лагере херсонитам горшки с водою, выливали ее со смехом на песок. Мукам христиан не было конца. Доведенные до крайности, они произнесли пересохшими устами слово «мир».

Во время переговоров скифы ворвались в город. Многие тогда погибли, Стратег Феофил Эротик был изрублен мечами. Его юная дочь досталась женолюбивому Владимиру. В тот же день запылали лавки на базаре и сгорела базилика святой Софии. Теперь вся Готия, Готские Климаты, Киммерии, Лагира, Нимфей и целый ряд других селений были в руках варваров. Виноградники были уничтожены, площади загажены конским навозом, базилики наполнились варварскими голосами. Мы же стояли в отдалении и не знали, что предпринять. Но надо было подумать о судьбе пленного ромейского города.

С наступлением темноты решено было послать хеландию в Гавань Символов с поручением спустить на берег лазутчиков. Чтобы тайна огня Каллиника не попала в руки врагов, я велел снять с хеландии медные трубы и сосуды с огненным составом, так как русские челны могли окружить хеландию и захватить метательные машины. В полной тишине маленький корабль отошел и вскоре скрылся в темноте.

С волнением мы ожидали его возвращения. Ничего не было видно во марке безлунной ночи. Только в стороне Херсонеса поблескивали огоньки. Может быть, то были огоньки костров. Часы казались столетиями. Никто не ложился спать.

Вдруг слышались крики. Мы поняли, что это возвращается хеландия, а за нею, как псы, гонятся русские ладьи.

Я отдал распоряжение, чтобы корабли приготовились к бою. Затрубили трубы. Корабельщики поспешно подняли якоря, люди встали у метательных машин, зазвенело оружие. Паруса надулись ветром, но прошло некоторое время, прежде чем мы двинулись на помощь погибающей хеландии.

Ее уже настигли враги. В темноте трудно было рассмотреть, что там происходит, но, судя по крикам, можно было предположить, что скифы избивали корабельщиков. Стоявший впереди других корабль открыл огонь. Ослепительным светом блеснуло пламя и озарило высокие

дромоны, черные воды моря и там, откуда доносился шум сражения, трепетавшую в агонии хеландию. С ромейских кораблей раздались вопли негодования.

Никифор Ксифий заскрежетал зубами:

– Теперь уже можно молиться о спасении их душ...

Я понял его. Единственное спасение в битвах с русскими моноксилами надо полагать в огне Каллиника. В тот час, когда руссы поднимаются на корабль, уже ничто не может противостоять их ярости. Ободренные успехом, опьяненные легкой победой скифские ладьи неслись на нас, рассчитывая захватить врасплох.

Трепещите, варвары, я уже принял меры. Тактика морского сражения учит, что в таких случаях лучше всего построить боевую линию в виде полумесяца, чтобы охватить врагов железным кольцом. Но в темноте кораблям трудно было занять указанные им места. Напрасно я кричал, приложив ладони ко рту. Дромоны натывались друг на друга, как неуклюжие животные. Наконец с большим трудом они развернулись и выстроились полукругом. Два дромона я отрядил для охраны неповоротливых торговых кораблей, нагруженных пшеницей.

Корабль «Двенадцать Апостолов» находился за первой линией, чтобы мне удобнее было управлять ходом сражения. Иерею и дьякону, которые чувствовали себя в этой обстановке, как в аду, я велел служить молебен о ниспослании победы. Они облачились в ризы и затянули молитву. Голоса их прерывались от волнения.

Стоявший со мной на кормовой башне Никифор Ксифий шепнул:

– Слышишь, какого петуха пускают страха ради иудейского?

– Молчи, грешник, – ответил я.

Уже на кораблях ревели огнеметательные трубы. Звук, с которым огонь вырывается из медного жерла, можно уподобить нечеловеческому вздоху гиганта. Людям казалось в темноте, что именно на их корабль несутся скифские ладьи, и они метали и метали огонь. Во мраке ночи поминутно возникали столбы пламени. Несмотря на ветер, в воздухе стояло душливое зловоние горящей серы.

Дрожащими голосами священнослужители продолжали тянуть псалом. Магистр Леонтий мучительно вдавливал в лоб пальцы, сложенные для крестного знамения. Это было не его дело – принимать участие в морских сражениях.

Вот послышались из мрака дикие вопли обожженных. Должно быть, одна из хеландий удачно метнула огонь в какую-нибудь варварскую ладью. Так воют люди, когда с них сдирают заживо кожу. Жидкое пламя причиняло невыносимые ожоги, выжигало глаза, обваривало огромные куски чувствительной человеческой кожи. Ничто так не чувствительно к страданию, как тонкая и болезненная кожа человека.

– Жарко! В другой жизни будет еще теплее! – кричал в темноту Никифор Ксифий и хлопал в ладоши.

Сражение во мраке ночи можно было уподобить картине Страшного Суда. Огонь адскими языками возникал в темноте и с треском горел на воде, как неопалимая купина. Тяжелые вздохи труб наполнили воздух зловонием серы. Как громом небесным поражали мы варваров. Вновь и вновь трубы выхаркивали всепожирающий огонь. С хеландий метали в ладьи руссов горшки, наполненные горючим составом. Когда такие сосуды ударяются о ладьи и разбиваются, от удара воспламеняется состав Каллиника, вспыхивает нестерпимым пламенем. Скифы корчились и выли, как грешники в геенне огненной. Напрасно они бросились в воду, чтобы спастись от мучительных ожогов. Огонь пылал и на воде, потому что его можно погасить только песком или мочой. Затем к месту сражения подходил дромон, и лучники, находившиеся на высоких кормовых башнях или в мачтовых бочках, засыпали освещенное пространство стрелами, убивая с Божьей помощью множество врагов.

С мужеством отчаянья скифы еще раз сделали попытку овладеть нашими кораблями. Тщетно, всюду их встречал огонь. Только дромон «Жезл Аарона» очутился в затруднительном



положении. Ветром его отнесло на несколько стадий от того места, на котором действовали хеландии. Видя, что на корабле нет страшных труб, варвары окружили его и, подсаживая друг друга, полезли на высокий корабль. Поняв по крикам, долетавшим с корабля, что ему угрожает опасность, две хеландии кинулись на помощь. В суматохе, разгоняя огнем русские челны, с одной из хеландии метнули сосуд с огненным составом на помост корабля. Пламя вспыхнуло с невероятной силой. Крики двухсот человек поразили наш слух. Еще мгновение, и «Жезл Аарона» запылал среди ночи, как гигантский смоляной факел. Мы видели, как люди бросались с корабельного помоста в море и погибали в черной воде...

Убедившись, что ничего нельзя сделать против ромейского огня, челны рассыпались в разные стороны и ушли под покровом ночной темноты. Кое-где догорали языки пламени. Но я велел трубить в трубы. Это было знаком прекратить огонь. Надо было беречь драгоценный состав. Мы не преследовали врагов, чтобы не попасть в сети ловушки.

Так заступничеством святого Димитрия мы отбились от скифов, и я помолился об упокоении души раба божьего Каллиника, который из обыкновенной серы и безопасной селитры создал и дал в руки ромеев такое страшное оружие.

На востоке уже брезжил рассвет, над водой возникал утренний туман. Тогда громкими голосами мы запели на кораблях псалом, благодаря небо за спасение и победу.

Но бесполезной была наша победа. Произвести высадку мы не смогли, так как на суше теряли единственное преимущество над врагами – силу огня. В мгновение ока варвары смяли бы моих шестьсот схолариев, из которых многие были больны от непривычного морского пути. Таким образом, мы ничем не могли помочь пленному городу. Мы кружились в море на виду у Херсонеса, иногда подходили на расстояние десяти стадий к берегу, вызывали на бой ладьи скифов, но, наученные горьким опытом, варвары не решались нападать на ромейские корабли. Руссы стояли толпами на берегу и грозили нам мечами и секирами. Эти ужасные секиры напоминали нам о том, какая участь ожидала бы нас, если бы мы захотели расстаться с неприступным убежищем кораблей.

На следующую ночь снова паника овладела корабельщиками. Во мраке слышались крики:

– Плывут! Скифы нападают на нас!

С хеландии «Великомученица Варвара» полыхнул огонь. Тревога оказалась тщетной: скифов не было. При вспышке огня можно было увидеть в море ладью, которая приближалась с корабля, стоявшего в эту ночь на якоре у острова святого Климента. В ночной тишине мы слышали диалог.

– Кто вы? – кричали с кораблей плывущим в ладье.

– Монахи из киновии святого Климента.

– Куда плывете?

– На пепелище.

– Сколько вас?

– Трое.

Дрожащие от страха монахи поднялись по веревочной лестнице на корабль «Двенадцать Апостолов». Обманув бдительность скифов, они вышли с наступлением сумерек из херсонской гавани и пустились в опасное странствие с целью достичь ромейских кораблей. Им хотелось посмотреть, что осталось от монастыря на острове. Монахов привели ко мне, и они упали на колени.

– Что происходит в Херсонесе? – был мой первый вопрос.

Они стали вопить, перебивая друг друга:

– Погиб Херсонес! Разорен прекрасный город! Скифы наводнили его, как волны морские. Многих жителей убили. Стратег погиб от русских секир.

От них я и узнал о том, что произошло за последние дни в Херсонесе. Базилика святой Софии сгорела. Базары были разграблены, и в городе не осталось ни одной амфоры вина. Владимир занял со своими близкими дом стратега, и каждый день там происходят оргии. Даже дочь стратега, семнадцатилетняя девственница, разделила ложе с русским князем. Но князь запретил своим воинам осквернять церкви и наносить ущерб имению священнослужителей. Епископ два раза совещался с князем. Монахи уверяли нас, что дело касалось мирных переговоров с базилевсом.

Как это ни странно, дальнейшее подтвердило их слова. На другой день утром мы увидели, что из херсонской гавани отплывает еще одна ладья, украшенная коврами. Солнце поблескивало на ее хоругвях. К нашему удивлению, в ладье находился сам епископ Иаков с пресвитерами в пасхальных облачениях. Заплаканный и взволнованный мальчик держал в руках икону Пречистой Девы. Тщедушный дякон бряцал кадиллом. За священниками стояли скифы в красных и голубых плащах, без оружия. Судя по одежде, это были посланцы князя. Мы смотрели на них изумленными глазами и не знали, что все это значит. Поразительна была красота этих людей, мощь и соразмерность всех их членов.

Прежде чем ладья пристала к «Двенадцати Апостолам», я успел надеть на себя воинские доспехи – ослепительный панцирь, поножи и меч, накинул на плечи вышитый золотыми орлами черный сагий. Леонтий тоже надел присвоенную его званию белую хламиду с золотым поясом.

Корабельщики, свесившись за борт, с любопытством смотрели на людей в ладье. Епископ держал в руках двосвечник и троесвечник и крестообразно осенял ромейский корабль. Священники пели стихиры. Высокий взволнованный голос мальчика звенел в хоре гнусавых басов. Епископ был огромным и тучным человеком, с лицом, заросшим до глаз черной бородой. Иподиаконы, повязавшие себя крест-накрест ораями, казались в сравнении с ним пигмеями.

Странно меняется жизнь, когда военные обстоятельства нарушают ее мирное течение. Подобное зрелище не могло бы представиться и во сне. Но я собственными глазами видел, как епископ в сияющем облачении, в митре<sup>20</sup> и в саккосе<sup>21</sup>, поднимался на корабль по веревочной лестнице, а корабельщики протягивали ему с помоста мозолистые руки, предлагая сыновью помощь. Маленький иподиакон поддерживал иерарха, как будто бы он мог справиться с тяжестью огромного архиерейского тела. За епископом поднялись остальные. Вокруг расстилалось сияющее море. Солнце ослепительным шаром стояло над головой. Вдали были видны на херсонесском берегу желтоватые башни павшего города. Черные ромейские корабли неподвижно стояли на якорях.

На помост положили красный ковер. Мы встали на него – Леонтий и я, он представитель гражданской власти, я – воинской. Заспанный Никифор Ксифий застегивал фибулу хламиды. Нас окружили другие чины и схолярии в панцирях из медной чешуи.

Епископ тяжело дышал. Опираясь на посох, он стоял перед нами и смотрел мученическими глазами на ромейских воинов. Мы тоже молчали, потому что он прибыл на корабль в сопровождении врагов христиан. Наконец епископ скосил глаза на восковую табличку.

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа... Приветствуем прибытие ромеев в сии воды. Да продлит Господь дни христолюбивых базилевсов наших, Василия и Константина, а над врагами дарует победу и одоление и во всем благое поспешение...

Небо сделало меня свидетелем величайших событий, ужасных войн, несчастий и катастроф. При одной из этих катастроф я присутствовал на помосте «Двенадцати Апостолов». Необычайное действо разыгрывалось перед нами. Владимир предлагал мир, обещал вернуть ромеям захваченный город и всю Готию, предлагал помощь в борьбе с азийскими мятежни-

<sup>20</sup> Митра – архиерейский головной убор с открытым верхом.

<sup>21</sup> Саккос – верхняя архиерейская одежда.

ками, но требовал соблюдения обещаний, данных базилевсами. Они ни для кого не были тайной. За шесть тысяч варягов, посланных против Варды Фоки, базилевсы обещали отдать варвару руку Порфириогениты. Теперь он требовал соблюдения договора. В противном случае угрожал, что пошлет воинов на Истр, отзовет варягов из Азии, сотрет с лица земли несчастный Херсонес.

Маленькие глазки Леонтия забегали. Это не ночной бой. Теперь он был в привычной для него атмосфере. Уже его служители несли бронзовую чернильницу, пергамент и трости для писания, как будто могло теперь что-нибудь зависеть от тростника, а не от меча. Несдержанный на язык Никифор Ксифий шепнул мне:

– Архивная крыса!

А мне казалось, что это только странный сон. Вот все рассеется, как дым, и ничего не будет. Но по-прежнему сияло море. Ромейские корабли стояли на якоре. Иподиакон высыпал в море горячие угольки из кадила. Думая, что это пища, к ним подплыла стайка серебристых рыбок.

На другой день переговоры продолжались в Херсонесе. Ими руководил по всем правилам ромейской дипломатии магистр Леонтий Хризозефал. Дело было ответственным и важным. Ведь речь шла не о каких-нибудь пустяках, а о руке Порфириогениты. Теперь я понял, почему базилевс послал в Херсонес такого опытного и ловкого человека.

Переговоры происходили в доме убитого стратега. Владимир, окруженный своими военачальниками, сидел на скамье, покрытой куском парчи, широко расставив мощные колени, опираясь подбородком на ладонь красивой руки. На нем была белая рубаха без всяких украшений.

Один из воинов держал в руках княжеское голубое знамя с изображением трезубца. Трезубец был знаком того рода, из которого происходил князь. Его предки плавали на кораблях в северных морях. Трезубец, символ Нептуна, охранял их во время бурь.

Я смотрел на князя с любопытством. Это был человек лет тридцати, высокого роста, стройный, с широкими плечами. У него были голубые глаза, над которыми нависали дуги густых бровей, и плоский нос. Румянец играл на щеках. По обычаю варягов он брил подбородок, но оставлял длинные усы. Они были у него русые. Копну таких же волос на голове сдерживал золотой обруч. На шее висело ожерелье из золотых шариков. Я видел однажды такой шарик...

Да, это был северный Геркулес, воин, жестокий варвар, проливший столько ромейской крови, колебавший теперь основы нашего государства. В левом ухе у него я заметил серебряную серьгу, украшенную жемчужинами. Но почему он не хотел носить бороды, которая так украшает мужа и христианина?

Ненависть к этому человеку в те дни наполняла до краев мое сердце. Но пусть она никогда не ослепляет моего разума и не ослабляет моих суждений.

Мы стояли перед ним полукругом – Леонтий, я и Никифор Ксифий, херсонский епископ Иаков, нотариус. Я пожирал князя глазами. Леонтий с привычной торжественностью разложил на небольшом столике копии договоров, пергамент, письменные принадлежности. Он улыбался, употреблял в речи изысканные метафоры, которые казались мне неуместными в этой обстановке, рассыпался в любезностях, называл варвара то «новым Моисеем», то «вторым Константином», выводящим свой народ из скифского идолопоклонства. Обязанности переводчика исполнял Анастасий, предатель церкви.

Но напрасно плел магистр сети своих тончайших силлогизмов, цитировал параграфы прежних договоров, ссылаясь на прецеденты. Победа сделала варваров самоуверенными. Владимир не уступал. Иногда Анастасий склонялся к его уху, шептал ему что-то, глядя преданными собачьими глазами на своего нового господина. У Владимира была привычка дергать ус.

Он щипал его и угрюмо слушал нашептыванья Анастасия. Один из военачальников, старик с седой бородой, сказал:

– Хитрят греки, как лисы. Пойдем, княже, на Дунай!

Владимир хищно улыбнулся, обнажив белые волчьи зубы. Плохо понимая славянский язык, Леонтий вопросительно поднял брови и посмотрел на меня.

Какие унижения приходилось испытывать ромеям! Я вспомнил, что писал Фотий, величайший патриарх, об этом народе, который мы так презирали и ставили рядом с рабами, но который вознесся теперь на такую высоту!

«Помните ли вы рыдания, которым предавался город в ту страшную ночь, когда к нам приплыли варварские корабли?»

Да, помним и не можем забыть! Нельзя забыть поля и холмы, превращенные в кладбища, младенцев, отрываемых от материнских сосцов и разбиваемых о скалы, могилы, где нашли себе последнее убежище люди и воны, водоемы, заваленные трупами христиан.

Владимир сидел, подпирая рукой подбородок, и мечтательно смотрел перед собой. Он, казалось, ничего не слышал и не видел. Вокруг князя, живописные в своих белых рубахах и в разноцветных плащах, стояли воины, сподвижники его дел. У некоторых была высокая обувь из желтой кожи, удобная среди болот и снегов, на ногах других перевились крестообразно красные и черные ремни. Магистр шуршал пергаментом, разворачивал хартии, доказывал, что брак сестры базилевса даже с таким ослепительным воином нарушил бы все благочестивые традиции священного дворца. Через широкие окна, разделенные колонками, доносился иногда с улицы топот коней. Это отряды варваров вели лошадей на водопой. А на стенах залы были изображены красками подвиги Феодосия, его победы и триумфы. На фреске конь героя попирает копытами поверженных врагов.

Зачем этому варвару нужна была красота Анны? Разве мало было у него красивых рабынь и юных пленниц? Должно быть, ему захотелось озарить свою темную и дику страну великолепием славы базилевсов, породниться с наследниками римских кесарей, возвысить в глазах народов темноту своего рабского происхождения. Почему обуяла этого распутника и убийцу такого множества людей ревность ко Христу? Или у него возникали в мозгу какие-то гениальные планы? Мне передавали его слова о «книжных реках», которые скоро потекут в языческой стране, о церковных голосах, которые огласят огромные пространства русских земель.

Сила его ума и ясность его мыслей были необычайны, признаем это в целях соблюдения истины. Как орел, он окидывал умственным взором пространства и морские побережья, взвешивал все обстоятельства и с необыкновенной быстротой разбирался в лабиринте политических хитросплетений, повергая в отчаянье магистра Леонтия. Владимир прекрасно понимал важность водных и караванных путей, по которым текло золото, совершая мировой оборот. Он знал о затруднениях, которые испытывало в данный час государство ромеев, и пользовался этим обстоятельством с варварской настойчивостью. За его спиной стояли тысячи воинов. Он мог настаивать на своих требованиях. Магистр вытирал с чела шелковым красным платком пот.

С тех пор как я стал принимать участие в работах огромной государственной машины, я понял, насколько сложна земная жизнь. Жена бедного писца, приготовляя мужу скромный ужин, или императорский повар, украшая веточками петрушки огромную рыбину для своего господина, и не подозревают о той политике, которую проводят базилевсы ради горсти перца, что служит для приправы. Устья Танаиса и Борисфена кишат рыбой. На солнце поблескивают солончаки Меотиды. Корабли везут в Константинополь соленую рыбу. Навстречу ей движутся караваны верблюдов, нагруженные обыкновенным кухонным перцем.

Нужны воины, быстроходные дромоны, огонь Каллиника и победы, чтобы охранять эти прозаические караванные дороги. Что такое победа? Соединения холодного расчета, реальных сил и еще чего-то, что не поддается никакому учету. Ничто не интересует так человека, как

собственная прибыль. Однако существует что-то более высокое, чем нажива, какие-то неясные помыслы, которые влекут народы к страшным и величественным судьбам. Как соединить торговые расчеты русской торговли и страсть Владимира к Анне? Не объясняется ли все стремлением человека к бессмертию и неудовлетворенностью его нашей краткой земной жизнью? Какая сила толкает варваров на мировую арену? Огромное количество их или мечта о чем-то прекрасном, чего никому до них не удалось осуществить на земле?

Такие мысли приходили мне в голову, когда я надевал алаксимены, собираясь на очередное собрание в доме стратега. Служитель подавал мне красный скарамангий. Я надевал его, и эта длинная одежда сразу же отделяла мое тело со всеми его слабостями от внешнего мира. Вместе с тем она защищала меня от холода и от всех влияний атмосферы, а также от тех враждебных эманации, что излучают люди и животные. Я опоясывался поясом, и тело мое приобретало в нем опору, необходимую для мужа в его предприятиях. Поверх я набрасывал на плечи черную хламиду с вышитым на правой поле золотым тавлием, и это одежда, украшенная внизу серебряными бубенцами, указывала на занимаемое мною в ромейском мире место. Золотая цепь на шее и вышитая золотом черная обувь довершали мой наряд. Уже не было тела, оно пряталось в складках материй, в золоте и в парчовых украшениях. Бубенцы символизировали мою ревность в непрестанном труде. Всюду, куда бы я ни шел, они возвещали тихим звоном о моей готовности служить христианскому делу.

Ничто так не отличает нас от животных, как одежда. Когда я смотрел на Анну, я видел только пышность ее одежды и глаза – выражение ее бессмертной души. А все низменное и случайное было скрыто от меня шелком, пурпуром, золотом. Несовершенство и грубость человеческой природы прикрываются красиво вышитым плащом. Один плащ называется «морем», другой – «орлом», в зависимости от его покроя и складок, но смысл их один и тот же – отвлечь наши мысли от плоти.

Мы являлись на переговоры с высоко поднятыми головами, благоухающие духами и розовым маслом, но сердца наши не были покойны. «Двенадцать Апостолов» стоял на якоре в гавани, как униженный проситель. За Понтом истекал кровью базилевс. Мои духи назывались «Печаль розы».

Трудно было в таких условиях сохранить твердость духа и быть неуступчивым, тем более что в Херсонесе велись только предварительные переговоры. Участь Анны должна была решиться в священном дворце. Но я понял, что благочестивый, вручая мне судьбу последних ромейских кораблей, еще большие полномочия дал магистру Леонтию Хризокефалу. В конце концов все уже было решено. Теперь только шла торговля за красоту Порфирогениты. Странно звучало для меня ее имя, произносимое в этой зале во время переговоров, в присутствии варваров, предлагающих за нее рыбные промыслы и солеварни.

Шел третий день переговоров. Магистр неумоимо шуршал пергаментными свитками хартий. Вдруг Владимир подошел к столу и ударил по нему кулаком:

– Анна!.. Или мы идем на Дунай!

Леонтий понял и тяжело вздохнул. Его глаза забегали, ища поддержки в окружающих или предлога зацепиться за что-нибудь, чтобы с новой энергией продолжать препирательства. Но вокруг стояли равнодушные ко всему варвары. Руссы, собравшиеся под окнами дома, шумели. Оттуда доносились их громкие крики.

– Что они выкрикивают? – шепотом спросил меня магистр.

Я перевел:

– Слава нашему прекрасному солнцу! Смерть грекам!

Леонтий вздохнул опять и с лисьей улыбочкой сказал:

– Нам нечего прибавить к тому, что мы изложили...

После окончания переговоров был устроен пир. В той же самой зале, где мы утром препирались о судьбе Анны, были поставлены столы, заваленные яствами, за столами сидели

в чистых белых рубахах воины Владимира. Оружие они сложили у стен. Отроки принесли сосуды с вином.

Этот пир не был похож на благочестивые трапезы христиан с пением псалмов и стихирей. Варвары разрывали пищу руками, кости хрустели на зубах, рты чавкали. Отроки едва успевали наполнять вином рога и чаши. Мы сидели среди пирующих, как приговоренные к смерти, едва касаясь чаш с вином. Куски пищи не лезли нам в горло. Схедеберн, русский военачальник, один из немногих варваров, знавший наш язык, подливал мне вина.

– Пей, – говорил он, – ведь мы теперь братья.

Владимир и его дядя, гигант с рыжей бородой, с малоподходящим для него именем Добрыня, что по-славянски означает «добрый человек», сидели за общим столом, пили из турьего рога с простыми воинами. Глаза князя блистали от удовольствия. Видно было по всему, что он большой любитель вина, женщин, всякого веселья.

Насытившись, варвары пожелали услышать пение. В залу привели слепцов с музыкальными инструментами. Нахмутив седые брови, слепцы рванули когтистыми старческими пальцами струны варварских арф. Руссы называют их гусями. Звук этих струн необыкновенно приятен, отдаленно напоминает звуки Эола. Некоторое время старцы перебирали струны, потом запели:

– Не тысячи орлов настигали белых лебедей...

Они воспевали подвиги Святослава и Олега, вошедших уже в героическую легенду, пели о прекрасных водах Дуная, о кораблях, поставленных на колеса под башнями столицы ромеев и двигавшихся, как по морю... Некоторые воины плакали, слушая музыку. У моего соседа катилась слеза на седой ус.

Опьяненный вином и пением Владимир поднялся и потребовал, чтобы на пир привели женщин.

– Скучно жить без красоты! – смеялся он и сверкал глазами.

Воины шумными криками одобрили эту мысль. У руссов нет гинекеев. У них женщины не опускают глаз при встрече с мужчинами. Они принимают участие во всех мужских делах, открыто выражают свое мнение на общественных собраниях, а при случае даже сражаются рядом с мужьями на городских стенах. Но русские жены были далеко. Распаленные долгим воздержанием и вином воины требовали женской красоты.

К нашему ужасу, первой привели дочь покойного стратега Феофила Эротика, семнадцатилетнюю девушку, еще не успевшую осушить слез в сиротстве. Ее посадили за стол рядом с князем. Владимир велел отроку принести ей вина. Бедная девушка взяла тяжелый серебряный кубок дрожащими руками. Сколько испытаний выпало на ее долю в водовороте военных событий.

– Пей, греческая красавица! – кричали воины.

Появились другие женщины. Среди них были блудницы из портовых кабаков, случайно схваченные на улице служанки, вытасенные из домов и, может быть, из объятий мужей и отцов добродетельные матроны и юные девственницы. Даже их не пощадили варвары.

Женщины кричали пронзительными голосами. Некоторые рыдали, валялись в ногах у пирующих и умоляли отпустить их. Но женские крики еще больше возбуждали варваров. Женщин насильно поили вином. Сосуды с грохотом падали на мраморный пол, запачканный вином и блевотиной. Пьяные воины насильно целовали женщин в губы, вступали друг с другом в спор из-за желанной добычи, готовы были схватиться за мечи. Скоро все были пьяны – воины, женщины, рабы, слепцы. Уже дочь стратега смеялась пьяным смехом. Едва державшийся на ногах рыжий гигант плясал перед нею с чашей в руке, и было удивительно, с какой легкостью вращалось это огромное тело. Схедеберн кричал девушке, стараясь перекричать шум пира:

– Хочешь, я подарю тебе золотое ожерелье?

Владимир пил вино, как воду, с веселой улыбкой смотрел на пирующих.

Видя, что теперь уже никому нет до нас дела и никто не заметит нашего исчезновения, мы встали из-за стола и вышли. Какая-то потаскушка, валявшаяся на полу, схватила меня за полу плаща.

– Оставь его, – сказал ей русский воин, – ему пора спать.

Дорогой, когда мы пробирались по ночным улицам в порт, где нас ждал дромон «Двенадцать Апостолов», Ксифий рассмеялся и похлопал магистра по плечу.

– А подумать только, с кем наш достопочтенный магистр не сравнивал варвара! Как ты изволил сказать, достопочтенный? Новый Моисей? Второй Юстиниан?

Леонтий угрюмо молчал.

– Взять бы схолариев, – продолжал Ксифий, – и перебить этих пьянчужек.

Настала очередь торжествовать магистру. Обернувшись к спутнику, он не без ехидства заметил:

– Верю, что господь наделил тебя воинским мужеством. Но сомневаюсь, что тебе отпущено много ума. Ты хочешь перебить скифов? А кто же будет помогать благочестивому в его тяжбе с Вардой Склиром? Обдумай это, может быть, поймешь. Я не тороплю...

Делая вид, что он ничего не слышал, патриций передразнивал старика, подражая его елеинному голосу:

– Кому уподоблю тебя? Второму Моисею уподоблю! С кем сравню твое великолепие? С великолепием Юстиниана! Ха, ха, ха...

Он тоже успел выпить на пире лишнее.

– С кем ты еще его сравнивал, отец? Кажется, с Ахиллесом! Еще уподоблю тебя герою, разрушившему Илион. Так и сказал! Золотые у тебя уста, достопочтенный...

– Осел! – не выдержал Леонтий.

Ксифий заливался смехом.

– Кому мы отдаем сестру базилевсов и дочь базилевса! – сказал я.

– По-твоему, лучше погибнуть ромейскому государству?

– Хорошо государство, которое...

– Помолчи, – оборвал меня магистр, – знай свои корабли. Остальное поручено мне, а не тебе, патриций...

Утром мы закупили в городе продукты, чтобы отправиться в Константинополь.

Без слуг и стражи мы проходили по улицам, и люди смотрели на наше унижение. На базаре слонялись, как тени, херсониты. Но мирная жизнь входила в свои права. Кое-где уже торговали лавчонки. Варвары покупали серебряные изделия, и торговец показывал им на пальцах цену вещи. В другом месте восточного вида человек, может быть, еврей из Хазарии, предлагал воинам полосатую материю, красиво развернув ее на каменном прилавке, а воины требовали красную.

Иногда до нас долетали обрывки разговоров. На главной улице, которая называется Аракса, один херсонит говорил другому, указывая на нас перстом:

– Это посланцы базилевса. В порту третий день стоит ромейский корабль.

Кто-то из толпы выкрикнул:

– Опоздали ромеи, предали нас варварам!

В группе людей, сидевших на ступеньках базилики, шел оживленный спор.

– Каган руссов принял крещение от латинян, – утверждал один из спорщиков, – потому и присылает папа посольство из Рима.

– Не от латинян, а из рук нашего епископа Павла, что сопровождал варанга Олафа в Самбат.

– А я говорю, что его крестили болгарские пресвитеры.

– Не болгарские, а русские.

Мы торопились, времени у нас было мало, и нам так и не удалось узнать, на чем порешили спорящие. Меня мучила жажда. У дверей бедного дома я увидел человека благообразного вида и попросил, чтобы мне дали напиться. Трубы акведука уже починили, и теперь снова в городе было изобилие воды. Человек принес мне глиняную чашу, наполненную холодной водой. Я утолил жажду и поблагодарил.

– Почему вы не отразили варваров? – спросил я с упреком, возвращая чашу.

Человек погладил черную бороду, опустил глаза.

– Если бы не акведук, мы не пустили бы язычников в город.

Вышедшая из дому старуха прибавила:

– Три дня употребляли в пищу соленую рыбу, а воды не было и капли. Нечем было омочить язык. Жили как в аду!

Я догнал спутников, и мы стали спускаться в гавань. Дромон по-прежнему стоял в порту, ожидая нашего возвращения.

На другой день на корабль прибыл Схедеберн и еще два молодых русса, чтобы плыть к базилевсам. Владимир поручил им привезти в Херсонес Анну. Солнце поднималось над Понтом юное, как в четвертый день творения. Паруса медленно всползали на мачтах. Пользуясь благоприятным ветром, в котором никогда не отказывал ромеям Господь, мы отплыли в Константинополь. Знала ли Анна, вышивая в тишине гинекея, что участь ее была решена? А мне хотелось кинуться в море, на съедение рыбам. Ничто не радовало меня, ни солнце, ни возвращение, ни красота корабля. С тяжелым сердцем я плыл в этом несовершенном мире, который сгорит когда-нибудь в один миг за свои страшные грехи.

Без всяких событий, достойных упоминания, мы снова пересекли Понт и остановились на один день в Амастриде на азийском берегу. Первою новостью, которая потрясла нас, было известие о гибели паракимомена Василия. Стратег пафлагонской фемы сообщил нам, что всемогущий евнух, державший в своих руках все нити управления, разгневал благочестивого и без всякого судебного рассмотрения смещен, сослан в отдаленный монастырь, где и умер, не выдержав свалившихся на него несчастий. Дом его был разграблен городской чернью, огромные имения взяты в пользу государства. Несколько дней было достаточно, чтобы погибло такое могущество! Совершив то, что ему положено было совершить, и пройдя на земле назначенное время, евнух покинул этот мир, в котором столько людей он сделал несчастными.

Одним из первых, кого я встретил в городе, был Димитрий Ангел. Он принадлежал к влиятельной и богатой семье. Брат его был доместиком нумеров, другой брат – стратегом Опсикия. А он уклонялся от служения и во дворце, и на поле сражения и проводил время в ничегонеделании, посвящая свои дни чертежам трудно осуществимых храмов, крепостей и дворцов. Теперь он носился с мыслью построить церковь более прекрасную, чем Неа, удивляющая мир совершенством своих линий. Сотрясаясь от кашля, он говорил мне:

– Понимаешь, мой друг! Обширный, наполненный воздухом атриум, в котором шумят фонтаны. Очень много воды. Вода струится из львиных пастей, из клювов павлинов, из труб, из отлитых из бронзы тюльпанов и лилий... Колонны окружают атриум мраморным лесом... Купол... Ах, если бы ты знал, какой легчайший купол я вычертил для этой церкви! А на сводах ее, среди пальм и пасущихся на лужайках агнцев, рано утром, на фоне золотых небес и розовой зари базилевс поклоняется Христу, симметрично окруженный епископами и патрициями...

– Прекрасно... – отвечал я рассеянно.

– О, это будет лучше, чем базилика святого Луки, которую я построил в Фокиде. Природа груба. В ней много случайного. Надо собрать все случайные положения листьев, чтобы создать одно, составленное из многих, совершенное, созданное дуновением умозрительного ветерка. Листьями такого аканта я украшу капители атриума. Надо, чтобы душа чувствовала не движение грубого земного ветра, а дыхание небесного Иерусалима...



В другое время я слушал бы с удовольствием, но теперь мой ум был полон забот и огорчений.

– Надо, чтобы лужайки райских цветов покрыли каменные стены, заполнили скучное пространство кирпичной кладки...

Мне было не до цветов. Схедеберн, которого я привез из Херсонеса, был поручен моим заботам. Русские послы ждали, когда им будет позволено видеть базилевсов.

Прием послов состоялся по традиции в Мангаврской зале. Ради такого случая возлюбленный брат базилевса Константин даже покинул долину Ликуса, где в те дни начинался сбор винограда и где он любовался смуглыми прелестями поселянок, срывавших гроздья.

Буколеонский дворец гудел как улей. Я доставил в указанное время русских посланцев в Буколеон. С удивлением осматривали они в Пантеоне пышные мозаики побед, задирая головы к золотому потолку зал. В свою очередь, и они привлекали всеобщее внимание. Всем хотелось взглянуть на завоевателей Херсонеса.

Явился логофет, на обязанности которого лежало руководство приемом послов. Подъемные механизмы тронов были заблаговременно проверены, смазаны маслом, чтобы не скрипели. Мангаврскую залу по обыкновению украсили паникадилами, коврами, хоругвями. Уже там курились кадельницы, наполняя запахом благовоний смежные проходы и лестницы.

Мы провели варваров, вымытых накануне в бане, к двери в тронную залу и еще раз напомнили им о троекратном земном поклонении, без которого не могло состояться торжество приема. Адмиссионалий, не скрывая своего удовольствия, что принимает ближайшее участие в таком важном событии, отворил дверь и ввел послов в залу. Но от зрелища, которое должно было несколько мгновений спустя представиться их глазам, варваров еще отделяла пурпуровая завеса. Она медленно стала раздвигаться, и тогда они увидели базилевсов, сидящих на золотых тронах. Заревели органы. Такой музыки никогда еще не слышали грубые варварские уши.

Перед тронами стояло позолоченное дерево, на ветвях которого сидели птицы, сделанные из чистого золота и серебра, – павлины, соловьи, голуби и орлы. Механизм уже был приведен в действие. Птицы пели механическими голосами. Трещал заводной соловей, кричали павлины, ворковали голуби, клекотали орлы. Около трона ожили золотые львы. Спрятанные в их телах пружины и меха работали без заминки. Животные раскрывали страшные пасти, рычали, высовывали языки, били хвостами. Послы стояли растерянные, позабыв о всех наставлениях.

– Падайте! Падайте ниц! – шептал я им.

Они упали, и в это время механизмы подняли на некоторую высоту подвешенные на цепях троны.

Второе падение и новое возвышение тронов. После третьего преклонения послы с удивлением увидели, что троны уже вознеслись, как на небеса, под самые своды залы, витали там в клубах фимиамного дыма. Сотни стратегов, domestikов, патрициев, евнухов смотрели на пораженных необыкновенным зрелищем варваров. В глубине залы блистали оружием протекоры и драконарии. Органы ревели во всю силу гидравлических мехов. Фимиам туманил зрение.

Наконец музыка умолкла. Тогда логофет, обернув руку полой хламиды, произнес традиционное приветствие:

– Благочестивые базилевсы, Василий и Константин, выражают радость по поводу благополучного прибытия послов их любимого сына во Христе Владимира в сей город...

Я перевел приветствие. Базилевсы сидели на тронах как изваяния. Только в глазах Константина мелькал лукавый огонек. Но уже клубы фимиамного дыма скрывали от взоров смертных лица боголюбивых государей...

Обстоятельства торопили нас. Судьбы ромеев висели на волоске. Как хрустальный шар вращался в руке ромейского автократора мира, порученный его заботам Господом, и ради этого мира Василий не пожалел принести в жертву свою сестру, уподобившись Аврааму на горе

Мории, когда, повинувшись голосу с небес, праотец наш поднял нож, чтобы заклать сына своего Исаака. Но ангел не удержал руки базилевса.

Судьбе было угодно, чтобы я сам отвез Анну варварам, своими руками вручил жестокому волку наше лучшее сокровище.

Никогда не забуду того черного в моей жизни дня, когда был назначен час отплытия в Готию. Как убивалась Анна, покидая гинекей, осыпая поцелуями близких! Зачем в ней расцвела нежным цветком смуглая красота Феофано! Зачем мы не уберегли ее! Но спросите сердце и разум, что было делать нам, прогневавшим Господа?! На Истре снова поднимались мизяне и готовы были вторгнуться в пределы фракийской фемы. В Азии положение оставалось катастрофическим, и мятежники могли каждый день получить помощь от безбожных агарян. Анна плакала, заламывала руки:

– Лучше бы мне умереть, чем ехать в Скифию!

Константин обнимал ее и плакал вместе с нею. Василий в гневе теребил бороду. По его суровому лицу тоже катились слезы – слезы мужа, редкие, как драгоценные алмазы.

Константин рыдал:

– Прощай, сестра! Как в гроб я кладу твою красоту! Погубит тебя гиперборейский климат...

В третий раз я отправлялся в далекое морское путешествие. Снова поднимал паруса старый корабль, выдержавший столько бурь. Снова поплыли мимо нас голубоватые вифинские берега...

Накануне отплытия я беседовал с базилевсом во внутренних покоях. Он сказал:

– Возьми лучший корабль, которому я мог бы доверить такое сокровище! Проверь внимательно снасти и паруса и выбери самых опытных корабельщиков, на ревность которых ты можешь положиться. Рассчитай все заранее, чтобы не было неприятных неожиданностей. Не упускай из виду никакой случайности. Все должно быть предусмотрено.

Я стоял перед ним, опустив глаза.

– Какой дромон ты выбираешь для Порфирогениты?

– Позволь мне взять «Двенадцать Апостолов». Это крепкий корабль, хорошо слушающийся руля и легко выдерживающий качку во время бури. Путешествие в это время сопряжено с опасностями. Но на нем Порфирогенита будет спокойна.

Василий развернул пергамент и стал просматривать корабельные списки. Скосив глаза, я увидел столбик названий:

«Двенадцать Апостолов»,  
«Жезл Аарона»,  
«Победоносец Ромейский»,  
«Святой Димитрий Воин»,  
«Феодосий Великий»,  
«Дракон»...

Омакнув тростник в золотую чернильницу (военная добыча – напоминание о победе под Антиохией), базилевс с искаженным лицом вычеркнул из списка «Жезл Аарона», уничтоженный пожаром у берегов Готии.

За несколько последних месяцев Василий постарел на десять лет. В его русой бороде появились в большом количестве седые волосы. Глаза базилевса покраснели от бессонных ночей, веки опухли.

– Пусть два других корабля сопровождают Порфирогениту до конца пути, – прибавил Василий.

Теперь три корабля шли на север. Жертва вечерняя, Анна, плыла навстречу своей печальной судьбе.

С нею был магистр Леонтий Хризокефал, не в первый раз выполнявший ответственные поручения базилевсов, и другой магистр – Дионисий Сподион, domestik Евсевий Мавракатакалон, епископ Фома, пресвитеры и многие евнухи. Они берегли сестру базилевсов как драгоценную жемчужину. Евнухи и прислужницы укутывали ее в шерстяные одежды, оберегали от непогоды и морского ветра, прятали от посторонних глаз. Но корабль не гинекей. Я видел иногда по утрам, как Анна стояла на помосте с кем-нибудь из своих женщин и смотрела на море. Я видел, как слезы туманили ее божественное зрение. Когда я думал, что скоро руки варвара будут ласкать это худощавое смуглое тело, мое сердце сжималось от тоски и ревности.

Иногда поднимался на верхний помост боязливый Евсевий Мавракатакалон. Раскрыв, как некая огромная рыба, рот, он озирался со страхом по сторонам, не очень, должно быть, доверяя устойчивости корабля. Ветер развеивал его пышную бороду, красотой которой он так гордился на собраниях. Но теперь ему было не до красоты. Жалкими устами он шептал:

– Погибнем мы, как фараон с колесницами в пучинах...

Как ничтожна человеческая душа, когда она не обуреваема великими страстями! Какая забота этому человеку до славы христиан? Как свиньям, таким нужны не страшные небесные громы, не бури, а спокойное житие, корыто, теплая постель. Не героическая стихия морей, а грязная лужа...

Каким грузом висят эти люди на рвущейся к небесам душе! Они – плевелы, засоряющие поле с пшеницей Господа, сорные травы, достойные быть вверженными в печь. Они не холодны и не горячи, не способны ни на какое прекрасное дело.

Колесниц фараоновых и коней на корабле не было. Но на корме, в деревянной загородке, жили бараны, предназначенные в пищу корабельщикам во время долгого пути. Каждый день приходил к ним с ножом кухарь, зверского вида человек, с ладанками и крестиками на волосатой груди, и резал одного барана. Остальные покорно ждали своей очереди, пожирая припасенные для них сухие травы, не беспокоясь о завтрашнем дне. Для них не было в мировом порядке ни вечной жизни, ни славы, кроме славы наполнить пищей наши желудки. Зато не дано им и страданий, которые испытывает человек. Чем возвышеннее стремления человека, тем больше суждено ему печали.

Однажды Порфирогенита стояла на помосте корабля и смотрела на взволнованное море. Корабль покачивался на волнах, и снасти скрипели. Мы уже повернули от азийских берегов на север и находились в открытом море. Со всех сторон окружала нас морская стихия. Кроме Анны, никого на помосте не было. Насытившись бараниной, люди отдыхали внизу. Только кормчие стояли на кормовых веслах, направляя ход корабля, да сторожевой корабельщик высоко на мачте пел псалом, чтобы не уснуть под мерное качание корабля. Паруса прекрасно надулись морским ветром. Корабельщик пел:

– Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых...

Далеко позади, в мглистом тумане, шли другие два корабля – «Феодосий» и «Победоносец».

Глаза Анны были печальны. От слез и бессонных ночей их красота стала еще страшнее. Они были огромны, эти никогда не мигающие глаза. Брови над ними взлетели еще выше, придавая что-то нечеловеческое бледному лицу. На нем отражалось внутреннее страдание. Это была не обыкновенная смертная, а дочь базилевса, которая живет, повинаясь иным законам, чем судьбы женщин в гинекее.

На черных волосах, разделенных пробором, не было ни покрывала, ни диадемы, ни простой нитки жемчуга. До диадем ли в морском путешествии? Прижимая руку к груди, а другой держась за веревочную снасть, в зеленом шелковом одеянии, которое развеивалось от ветра, Анна, не отрываясь, смотрела на море. Никого около нее в эту минуту не было. Опасаясь, что разум ее мог помутиться от горя, я приблизился. Ведь за бортом колыбалась страшная стихия.

Почему мой язык не прилип к гортани? Почему я не удержал своей дерзости? Но, оглянувшись и видя, что никто не мог наблюдать за нами, так как мы были скрыты от корабельщика на мачте парусом, а кормчий были на корме, я сказал:

– Порфирогенита!

Она обернулась ко мне в изумлении.

Это было страшнее, чем стрелы болгар на поле сражения. Я чувствовал, что под моими ногами разверзается бездна, готовая поглотить меня, корабль, весь мир. Я понимал, что погибаю. Но я уже был бессилен удержать свои чувства. В эту минуту я не боялся ни гибели, ни гнева автократора, ни вечных мучений. Анна подняла на меня свои глаза, наполненные до краев изумлением.

Задышавшись от волнения я стал говорить:

– Деспойя! Я вижу твои слезы. Я слышу, как ты плачешь по ночам. Как пес, я брожу около тебя, никому не доверяя. Хочешь, я поверну корабль к берегам Иверии? Мы дойдем туда в три дня, никто не догадается ни о чем, пока мы не пристанем. Там ты найдешь безопасное убежище. Что значит судьба ромеев в сравнении с твоим счастьем?

Анна смотрела на меня как на безумца.

– Что ты говоришь, – прошептала она и сложила руки на груди, как мученица, – что ты говоришь! Опомнись!

– Я вижу твои слезы, деспойя, – упал я на колени перед нею, – а с тех пор, как я тебя увидел, там, во дворце, в зале с малахитовыми колоннами, я ни о чем другом не могу думать, кроме тебя.

– Когда ты видел меня?

– Помнишь, ты бежала за котенком.

– Теперь я вспомнила. Это был ты?

– Это был я.

Анна улыбнулась горько, всматриваясь вдаль, может быть, в тот наполненный гимнами день, когда она беззаботно резвилась в гинекее.

– Да, теперь я вспомнила. Припоминаю твое лицо, патриций. Сколько у нас было разговоров по этому поводу в скучном гинекее.

Не в силах сдержать своей страсти, я припал к ее ногам, покрывал поцелуями жемчужные крестики обуви. Но в это время парус заполоскал, прилип к мачте, и Анна увидела корабельщика в корзине.

– Встань, встань, – ужаснулась она, – ты потерял разум...

Я встал. Теперь мне казалось, что все случившееся происходит в бреду. Я, простой смертный, волею случая вознесенный до звания патриция, осмелился сказать такие слова сестре базилевсов! Я уже чувствовал, как расплавленный металл вливается в мою гортань, сжигая внутренности. В голове мелькнуло: не пройдет и трех дней, и меня ослепят, оскоят, забьют насмерть плетью или бросят в темницу, отлучат от церкви. Грудь Анны вздымалась от сильного дыхания. Ветер играл зеленым шелком ее длинной одежды.

В это мгновение отворилась дверца камары, и оттуда показалось опухшее от сна бабье лицо евнуха Романа, бывшего великого ключаря, а теперь куропалата, которому базилевс поручил свою возлюбленную сестру. Я услышал писклявый голосок:

– Госпожа, солнце приближается к закату. Опасаюсь, что морская сырость может повредить твоему здоровью. Внемли твоему рабу и спустись вниз!

За евнухом прибежала прислужница, держа в руках белый шерстяной плащ. Она накинула его на плечи госпожи, и Анна, прижимая плащ у шеи тонкими пальцами, удалилась, а ветер раздувал белое одеяние, как крылья голубки. Белый голубь пролетал над Понтом, над хаосом нашей жизни, белая голубка мира, спасительница государства ромеев, прелесть которой была превыше всего, сильнее оружия фем и даже греческого огня.

Корабельщик пел псалом:

– Охраняет Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет...

Голос у него был пронзительный и мерзкий, но пел он с увлечением, вполне довольный своими музыкальными способностями.

Анна спустилась по ступенькам в темное чрево корабля. Потирая пухлые ручки и позевывая, евнух подошел и с подозрением посмотрел мне в глаза.

– Что случилось, патриций Ираклий? Ты, кажется, говорил с Порфирогенитой? О чем же вы беседовали, хотел бы я знать?

– Что ты! Что ты! – стал я лепетать, отстраняя от себя руками его подозрение.

– А вот мы сейчас спросим! Эй, любезный! – крикнул он корабельщику на мачте, – спустись-ка к нам с твоих небесных высот!

Корабельщик прекратил пение, приставил ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Евнух показал ему знаками, что надо спуститься на помост. Когда тот сполз с мачты, Роман спросил:

– Ты ведь видел, как патриций разговаривал с Порфирогенитой?

Корабельщик замотал головой. Это был человек с нелепой бородой, с копной нечесанных волос, лопоухий. Роман махнул ручкой, не надеясь узнать что-либо от этого несильного разумом человека. Корабельщик снова полез на мачту. Мгновение спустя опять послышался его мерзкий голос.

– Что за сладкоголосый соловей, – не выдержал евнух.

Я пошел к кормчим, делая вид, что мне надо проверить направление корабельного пути. Несколько корабельщиков лежали у кормовой башни и вели разговор. Один из них, с отрубленными в сарацинском плену ушами, над чем всегда потешались его товарищи, рассказывал:

– Взяли сарацины город... Пленили всех ромеев и решили их оскопить. Но городские женщины возмутились. Приходят к сарацинскому эмиру и говорят: «Разве ты воюешь с женщинами?» – «Нет, говорит, мы не воюем с женщинами» – «За что же ты хочешь наказать всех нас?»

От хохота приятели рассказчика катались по помосту.

На седьмой день путешествия мы приблизились к берегам Готии. Когда сторожевой корабельщик увидел из кошницы первые признаки земли, я велел украсить корабли пурпуром и вывесить хоругвь с изображением Пречистой Девы, хранившей нас среди таких опасностей. Все поднялись наверх. Утро было свежее, но солнечное, радостное. Ветер нес нас в своих мягких и упругих объятиях к земле.

Берег приближался с каждым мгновением. Стадия за стадией уменьшалось пространство между кораблями и землей.

– Вот и пересекли страшный Понт! – радовался Евсевий Мавракатакалон.

– Слава Иисусу Христу, во веки веков, – поддержал его епископ Фома, ни разу не поднявшийся на помост, проболевший все путешествие.

– И ныне и присно... – перекрестился Евсевий.

Уже можно было рассмотреть городские башни, вход в порт, белые ступени спускающейся к морю лестницы, запруженной народом. С каждым мгновением вырастали перед нами башни. Наконец мы тихо прошли мимо их каменного величия. Кормчие с искаженными лицами налегли на весла. Паруса падали с мачт...

С волнением мы смотрели на город. Толпы народа ждали нашего прибытия. Солнце блистало на крестах хоругвей, на серебряной ризе огромной иконы, покачивающейся над морем человеческих голов, на золотых стихарях. Анна стояла на корабельном помосте, окруженная патрициями, магистрами и пресвитерами, в клубах фимиамного дыма, ведомая на заклатие, оплаканная и отпетая. Жемчужные нити свешивались с ее диадемы, колыхались у обезумевших глаз. Лицо ее было нарумянено, и румяна особенно подчеркивали бледность лица. Глаза, глубокие и никогда не мигающие, уставились в небеса. Смывая румяна, по щекам катились

крупные слезы. В этот час она была подобна какому-то языческому божеству. А на берегу хоры пели: «Гряди, голубица...»

Бородатые и светлоусые воины в остроконечных шлемах, с оружием в руках, стояли бесконечными рядами. Их красные щиты преградили пространство на стади. Владимир ждал свою невесту, прекрасную дочь базилевса, совершившую ради него такое длительное и опасное путешествие. Окруженный херсонитами, он простирал к кораблю руки. С его широких плеч тяжелой парчой свисала хламида, и драгоценные камни переливались на аграфе. На голове сияла золотая диадема, как будто у него уже был сан кесаря. И вот новая Ифигения<sup>22</sup>, превозмогая слезы, едва-едва коснулась похолодевшими устами румяной щеки варвара, еще вчера приносившего человеческие жертвы русскому Юпитеру, а ныне собиравшегося принять вместе с этим цветком императорских гинекеев царство небесное и, может быть, апостольскую славу.

Волосы зашевелились у меня на голове, когда я увидел на ногах варвара пурпурную обувь, какой не подобает носить, кроме автократора ромеев и христианского повелителя Эфиопии, ни одному человеку на земле. Я не знал, в чем горшее унижение для ромеев – не в том ли, что мы отдавали ему багрянородную дочь базилевса, или вот в этих пурпурных кампаниях?

Вокруг смотрели на нас любопытные голубые и серые варварские глаза. Леонтий, всхлипывая, шепнул мне:

– Ну, что ж! Утаим слезы и порадуемся, что богохранимое государство ромеев вышло невредимым из таких испытаний...

Как в тумане ходил я по улицам Херсонеса в тот день, когда с триумфальной арки императора Феодосия варвары совлекли вервиями бронзовую квадригу – летящих в воздухе славы коней и увенчанного остриями солнечного сияния героя. С необыкновенным искусством они опустили на землю огромную тяжесть, не повредив прекрасного произведения художника. На площади, отмахиваясь хвостами от насекомых, волю спокойно ожидали груза, как будто они стояли не на агоре, где оглашали народу новеллы базилевсов и постановления вселенских соборов, а перед обыкновенным амбаром. Соединенные попарно ярмом животные вытянулись длинной вереницей, и серый великолепный вол в первой паре смотрел выпуклыми черными глазами на мою красную хламиду. Чудовищная колесница была сбита грубо, но прочно. Привыкшие перетаскивать свои ладьи через пороги руссы двигали к ней тяжелую квадригу, подкладывая на пути круглые катки. Квадрига медленно ползла, скрип катков оглашал воздух, люди сустились вокруг нее, как муравьи. Некоторые обнажили себя по пояс и в одних белых портах, босые, как на страницах Прокопия, толкали крупы бронзовых коней. Владимир, в ромейском плаще, в обшитой мехом шапке, наблюдал за работой. Около него стоял презренный Анастасий. Я слышал своими ушами, как он сказал варвару:

– Повели литейщикам отлить голову по твоему подобию, поставь ее на место кесаревой, воздвигни квадригу в твоём городе, и она будет века возвещать людям о твоей славе. Ибо металл не боится ни дождевой сырости, ни зимы, ни времени...

Владимир крутил светлый ус, ничего не отвечая. Теперь он, в самом деле, может быть, воображал себя новым Феодосием.

Наконец квадригу водрузили на колесницу. Защелкали бичи. Опустив рога, быки повлекли тяжелый груз в порт, вздымая пыль, под нестерпимый скрип варварских колес. Квадрига непонятным образом медленно двигалась мимо домов, и люди смотрели на нее и крестились. Зрелище было страшное и непривычное для человеческих глаз. В порту добычу должны были погрузить на ладью, чтобы везти по Борисфену в Самбат. Казалось, не было предприятия, которое не удавалось бы руссам.

---

<sup>22</sup> Ифигения – в греческом мифе должна была быть принесена в жертву для искупления греха своего отца.

В порту я видел, как в ладьях лежали на ворохе соломы древние статуи, может быть, произведения Лисиппа или Праксителя, а рядом с ними – хрупкие вазы, богослужебные сосуды и изделия из стекла. Молодые варвары заботливо передавали из рук в руки амфору с благовониями. Нагая богиня улыбалась на соломенном ложе, собираясь в далекий путь к северным варварам. Лопухий ослик нес по обоим бокам тугого лохматого брюха сумки, набитые книгами и свитками Писания. Переговоры были закончены, и руссы собирались в обратный путь. Впервые их князь клялся в тексте договора не мечом и не языческими богами, а святой Троицей.

Перед отъездом руссы ходили толпами по городу, в котором снова восстановилась торговая жизнь. Жадность заставляла торговцев открывать разграбленные лавки, вытащить на свет припрятанные товары. Опять на Готской улице запахло миррой и мускусом, а на ступеньках базилик появились продавцы крестиков, четок и восковых свечей. Только виноторговцам не было чем торговать: вино было выпито до капли, а нового запаса еще не успели подвезти. Но уже доставили из Хазарии полосатые материи, женские украшения из серебра и бирюзы, золотые цепочки и разноцветную обувь. Даже менялы, худые иудеи и жирные греческие скопцы, выползли из своих нор и звенели монетами, взвешивая на весах солиды. Награбленное золото текло рекой.

Один раз я видел, как по базару проезжал в сопровождении друзей Владимир. Воины оставили свои покупки и кричали:

– Слава нашему прекрасному солнцу!

Городские дети бежали за княжеским конем. Иногда Владимир бросал им пригоршнями серебряные монеты.

О, князь ликовал, и в глазах его можно было прочесть довольство. На днях в базилике святой Софии состоялось по древнему ромейскому обряду венчание его с Порфирогенитой. О, сколько было пышности и торжества, сколько было сказано по этому поводу пустых и фарисейских слов! Два епископа кадили перед лицом варвара, гремели хоры, мешки серебряных монет были розданы нищим и убогим. Потом я видел, как толпы русских воинов шумели перед домом стратега, требуя, чтобы им показали брачную рубашку красивой «гречанки». Кто-то показывал им ее из окна, на белом полотне были пурпуровые пятна крови. Воины ревели от восторга.

Владимир добился всего, чего хотел. Во исполнение договора он возвратил ромеям Херсонес, все прилежащие к нему земли, рыбные промыслы и солеварни, посылая на помощь базилевсу новые отряды воинов и давая торжественное обещание просветить свои народы светом христианского учения. В городе было много ромеев из Константинополя. Одни явились для сопровождения Порфирогениты, другие, чтобы оформить договор и следить за его исполнением, третьи по торговым делам. Можно сказать, что со мною были все мои друзья – жадный и невежественный Евсей Мавракатакалон, интрига Агафий, назначенный стратегом на место убитого Феофила Никифор Ксифий, магистр Леонтий Хризозефал, которому было поручено сопровождать сестру базилевса до Самбата и убедиться в ее безопасности. Даже Димитрий Ангел был в Херсонесе. Схедеберн в Константинополе пригласил на службу к своему господину многих художников, чеканщиков монет и переписчиков. Воспламененный своими строительными мечтами, Димитрий тоже пустился в далекую дорогу. Сотрясаясь от кашля, – ужасный недруг не покидал его, – Димитрий Ангел делился со мною своими проектами, набрасывал худыми руками в воздухе округленности куполов, придумывал условную растительность капителей.

– Чтобы почтить север, я возьму для капителей не классический лист аканфа, как принято строителями, а листья дуба, вырезанные с таким изяществом природой. Резец запечатлеет в них трепет борей, воздух степных пространств. По условиям сурового климата окна придется сделать узкими и скупо дающими свет. Ничего! Я украшу их снаружи барельефами. Внутри

скудость света возместится размером храма, золотым фоном мозаик и люстр. Побольше свечей! Воска в этой стране горы! Мы научим варваров делать свечи...

У него кружилась голова от грандиозных планов.

– Вокруг города мы построим каменные стены. Башни должны быть высокими, чтобы с них легко можно было следить за передвижением кочевников. В Самбате выпадает много снега, и мы возведем на башнях высокие крыши, увенчаем их для украшения фигурами зверей. Над городскими воротами мы установим квадригу Феодосия с головой Владимира.

– Тебе не стыдно поднять руку на великого императора?

– Подвиги Феодосия сохранит история, а слава Владимира только возникает.

– Но где же ты возьмешь камень для таких построек?

– Камень? Все предусмотрено. Ты знаешь, как строил в Хазарии патриций Петрона Коматира?

– Не знаю.

– Когда он прибыл с помощниками в Танаис, то увидел, что в этой стране нет ни извести, ни камня. Тогда Коматира построил огнеобжигательные печи и стал делать кирпичи. Известь он заменил речной калькой, размолотой в порошок на мельничных жерновах. Так будем строить и мы.

Я смотрел на него с завистью. Сколько огня было в этом болезненном человеке!

Иногда ромеи собирались у Леонтия Хризозефала, обсуждали события. Больше всего на таких собраниях говорили о Владимире. Вопросы о нем сыпались со всех сторон.

– Владимир принимал сегодня послов из Рима. Что пишет ему римский папа?

– Владимир расспрашивал сарацинских купцов о Иерусалиме.

– Владимир осматривал ромейские корабли и расспрашивал об их устройстве.

– Не думает ли он посетить базилевсов?

Случалось, что к нам являлся пресвитер Анастасий и сообщал о том, что делается в доме стратега. В тот вечер он делил с нами беседу. Магистр Леонтий увивался около него, пытаясь пронюхать о планах варваров. На базаре ходили слухи, что тысячи русских воинов отплыли прошлой ночью в ладьях в неизвестном направлении. Куда? – терялись мы в догадках. Но предатель держал язык за зубами.

Вдруг вошел Никифор Ксифий, взволнованный и мрачный. Мы посмотрели на него.

– Владимир занял Таматарху! – сказал он.

Многие вскочили со своих мест. Магистр схватил его за плечи.

– Таматарху! Этого не может быть!

Анастасий тоже встал, потягиваясь с притворной зевотой:

– Время отойти ко сну...

Но мы обступили его со всех сторон, требуя объяснений.

– Что это значит? Вы предали нас!

Анастасий развел руками.

– Что вы, отцы! Волноваться причин нет. Чем вы недовольны? Соблюден договор во всех подробностях или не соблюден? Соблюден. Получаете вы Херсонес в свое владение? Получаете. Посылает князь варягов на помощь базилевсам? Посылает. Возвращает он вам солеварни и рыбные ловы? Возвращает. О Таматархе же в договоре никаких упоминаний не было.

Таматарха лежала по ту сторону Босфорского пролива. Этот город, очень важный в торговом и военном отношении, был населен скифами и всяким торгующим людом, среди которого было много руссов. Город никому не принадлежал, как-то управляясь в своей вечной анархии. Теперь Владимир тайно переправил туда воинов и наложил на город тяжелую руку. Мы понимали, что, обладая Таматархой, он всегда может оказывать давление на дела в Готии, даже не имея сил в Херсонесе. Там он оставлял свое око, которое будет наблюдать за готским



берегом. Хитрый варвар обошел наших проницательных магистров. Договор соблюден, но над Херсонесом на вечные времена повисла в воздухе русская секира.

Агафий, писавший текст договора, мелкими ударами кулака стучал по столу, скрипя зубами от злости. Леонтий Хризоефал, сжимая голову руками, бегал из угла в угол, бормоча непонятное.

– Право, вам нет причин волноваться, отцы, – успокаивал Анастасий, – Таматарха никогда не принадлежала ромеям. Зачем этот город вам? А каган (иногда русского князя называют здесь каганом, в подражание хазарам, и меня не удивит, если его скоро станут называть базилевсом или кесарем) нашел там своих людей, бежавших от его суда, не желавших платить судебной пени, беспокойных бродяг и непокорных всякого рода.

– Я понимаю твою игру! – многозначительно поднял палец Леонтий.

Анастасий стал бить себя в грудь кулаком:

– Верьте, что мы теперь с ромеями, как братья. Все ваши торговые права будут сохранены в Таматархе.

Уже ничего нельзя было переменить в нашем незавидном положении. Порфирогенита была в руках варвара. О Таматархе же наши хитрые, как змеи, магистры не подумали во время составления договора.

– Если бы вы знали, отцы, какие у нас планы! – потирал руки Анастасий, радуясь, что он тоже принимает участие в составлении этих грандиозных планов.

– Господь может низринуть вознесшихся...

– Все в руках Всевышнего! Это верно. Но у нас такие планы, что мир удивится! Через Таматарху лежит путь в Индию, а через Иверию в Багдад! А из Багдада рукой подать в Дамаск и Иерусалим! Только бы нам не помешали обстоятельства. Трудное это предприятие, что и говорить. С пустыми руками мы принимаемся за его осуществление. Ничего у нас нет. Ах, послушайте, отцы...

Он подошел к магистру, сел рядом с ним на скамью и зашептал:

– Продайте нам тайну греческого огня! Сто тысяч номизм за один медный снаряд для огнеметания, за один горшок состава! Научите нас, как готовится сей огонь! Что вы хотите за него: золота, воинов, мехов?

Мы содрогнулись. Я с радостью вспомнил, что на ромейских кораблях, что стояли в херсонском порту, не было ни одной огнеметной машины, ни одного сосуда с огненным составом Каллиника. Их оставили предусмотрительно в Константинополе по приказанию базилевса. Пусть попробуют узнать тайну ромеев!

Леонтий замахал на него руками.

– Что ты говоришь! Нам и самим неизвестна тайна приготовления огня.

Анастасий встал с явным разочарованием.

– Жаль, – сказал он, – нам бы это пригодилось в борьбе с кочевниками.

– Ничего не можем сделать, – ответил Леонтий, – рады бы услужить вам.

– Смотрите, – погрозил пресвитер, – не прогадайте! Сомнут нас кочевники, будет и вам плохо. Мы можем защитить вас от сарацин, без нашей помощи они овладеют ромейскими городами. Какие вы воины!

– Победы не покидали нас! – сверкнул глазами Никифор Ксифий.

– Знаю, кто стяжал вам победы! – не уступал Анастасий. – Разве дело в победах? У нас тоже были победы. Тысяча русских воинов разгромит все ваши войска. Только пыль поднимется облаком! Перья полетят в воздухе! На Дунае руссы сражались с неприкрытой грудью, бросив щиты, и побеждали ваших закованных в железо катафрактаров. Вот этого нам и не хватает. Дайте нам железо, греческий огонь, корабли! Владимир хочет объединить все народы, живущие на восток от Дуная, всех славян. Тогда мы раздавим врагов, как червей. Не хотите

дать, сами найдем! Построим корабли, метаящие огонь! Построим города! Академии! Только бы нам не помешали обстоятельства...

Подумать только! Давно ли он упоминал в молитвах за литургией благочестивых ромейских государей и христолюбивое воинство фем и корабли? А теперь – «мы» и «нам»!

– Не будьте близорукими, ромеи, – зывал он, – ведь теперь мы ваши союзники. Будем помогать друг другу! Не то смотрите! Не так уж трудно и переплыть нам Понт. Переплывали не раз...

Уже в дверях, обернувшись к нам, он сказал:

– Прощайте, отцы...

Только один раз я имел случай взглянуть на Анну. Наши корабли должны были вернуться в Константинополь. На них возвращались домой все ромеи, провожавшие Порфирогениту в ее путешествии. Сопровождать ее до Самбата остались только мы с Леонтием Хризочефалом, Димитрий Ангел, священнослужители и наши писцы. На кораблях отплывали также в Константинополь варяги, поступившие на службу к базилевсам. Меня посылали в Самбат как знающего язык варваров. По поводу варягов Леонтий говорил мне на ухо:

– Кажется, Владимир, весьма не прочь отделаться от этих разбойников.

Возможно, что и в самом деле Владимир не питал особой любви к этим воинам, с которыми у него всегда было много забот. Но он явился вместе с Порфирогенитой в порт в день отплытия, чтобы пожелать варягам счастливого путешествия. Ведь как-никак они отплывали к братьям нежно любимой жены.

Он шел с Анной под пурпуровым навесом, который держали на тростях четыре мальчика в серебряных стихарях. Впереди шествовали многочисленные пресвитеры. Множество народу направлялось по холмистым улицам в порт, где корабли уже готовы были поднять якоря. Я видел, как Анна сходила по крутому спуску, осторожно ставила маленькую ногу в обшитой жемчужинами обуви на грубые камни дороги. Ковры постлать на пути шествия не догадались или не имели времени. С застывшей улыбкой на лице Анна спускалась с камня на камень, и над ее головой покачивались страусовые перья пурпурного навеса – белые и розовые.

Корабли один за другим подняли паруса, вышли из гавани в море. Внизу сиял уже почерневший от непогод Понт. Волны разбивались о берег. Варанги на кораблях размахивали мечами и секирами, что-то кричали оставшимся на берегу, должно быть, обещали сокрушать врагов и побеждать. Владимир время от времени махал им рукой. В глазах его мелькал лукавый огонек. Пусть уплывают! Зачем ему эти беспокойные люди, когда у него сколько угодно смелых и послушных воинов. Анна стояла рядом, бледная, как всегда, и взволнованная. Она с грустью смотрела на корабли, уплывающие к братьям. Глаза ее никогда не мигали, как глаза базилисс на церковных изображениях, такие же огромные и глубокие. Но было что-то новое в ее лице. Как будто бы оно было опалено каким-то внутренним огнем. Губы ее запеклись, припухли, под глазами легли голубоватые тени. Все было понятно: впервые страсть прошумела над нею и опалила эти глаза и ресницы.

– О, тяжелое бремя жизни мы несем... – не выдержав, сказал я сквозь зубы.

– Что с тобой, друг? Чем ты опечален? – спросил Никифор Ксифий. – Не хочется ли и тебе вернуться вместе с ними?

– Будем и мы там.

– Уж не оставил ли ты в городе какой-нибудь вдовицы? – намекнул он на вдову логофета.

– Патрицию Ираклию надо обзавестись очагом, – вздохнул Леонтий, – нехорошо быть мужу одному...

Я вспомнил лицо его последней, не выданной замуж, дочери, большеносой, унылой, преждевременно увядшей.

Корабли удалялись. Крики воинов затихли. Чайки кружились над портовыми башнями.

Что я мог сказать друзьям? У меня не было ни жены, ни любовницы. Фелицитата, вдова покойного логофета, принимавшая тайно меня в своей увешанной иконами спальне, ничего не вызывала в памяти, кроме отвращения. Грузная женская плоть, вскормленная жирными пирогами. Тамар? Я старался не думать о ее смуглом горячем теле, с которым в моей жизни были связаны такие греховные воспоминания. Не один раз я пробирался тайком в квартал Зевгмы, в тот грязный лупанар, где обитала Тамар. Была в этом грехе для меня какая-то неизъяснимая сладость. Я приходил, закрыв лицо куколем плаща, старуха шамкала:

- Девочка уже вспоминала сегодня про тебя. Говорит, чего-то не приходит мой патриций.
- Откуда тебе известно, что я патриций?
- Хм... корабельщики сказали.

Больше я не ходил туда. Но еще теперь я содрогался, вспоминая маленькие перси, грешную упругость их в холсте деревенской рубашки, ее вздохи в моих объятиях. Я мог бы сделать ее своей наложницей, уплатив небольшую сумму содержательнице вертепа. Но так было стыднее, слаще – делить ее тело с пьяными корабельщиками и грубыми воинами. Потом я бежал из этой непотребной клоаки, оставив Тамар на произвол судьбы.

Почему она плакала, целуя меня? Страшно жить в нашем мире! Может быть, я оставил там сестру свою? Не такие ли у нее ресницы, как у другой? Почему же одна в пурпуре, а эта продает свои ласки за медную монету? Обеим Господь дал бессмертные души, а судьба у них не одна. Что будет с душой маленькой Тамар, когда душа Порфирогениты, вознесенная молитвами народов, улетит в райские пределы?

Все просто в мире. Базилевсы повелевают, воины сражаются, поселяне возделывают землю, каменщики строят дома, корабельщики уходят в море на утлых кораблях. Почему же тревога терзала мою душу?

Мы возвращались домой усталые и хмурые. Над толпой покачивался пурпурный навес. На завтра было назначено оставление Херсонеса. Анна уезжала в холодную и странную страну гипербореев.

Она поднялась на малый корабль, украшенный санскими коврами. Корабль должен был доставить ее в Самбат. На других ладьях Владимир увозил военную добычу, статуи, мощи святой Фивы, ковчежец с нетленной главой святого Климента. Останки его покоились в Риме, глава досталась руссам. Они поделили с Римом драгоценное сокровище.

Солнце было уже осеннее, но теплое. Паруса всползали на мачты, наполнялись дыханием понтийского ветра. Среди радостных кликов, мычания волов, ржания коней и криков верблюдов руссы покидали город. Анна стояла на помосте корабля, тоже готовая покинуть навеки ромейские пределы. Разве не мог суровый скифский климат погубить ее взлелеянную в пурпуре красоту? Но странно, мне показалось, что ее глаза блистали счастьем...

Путешествие наше напоминало переселение народа – такое множество людей двигалось к устью Борисфена. Русская конница, верблюды и волы ушли берегом. Часть воинов осталась в Таматархе. Когда удалился из Херсонеса последний варвар, стратег Никифор Ксифий велел запереть городские ворота. Со скрипом затворились огромные створки, обитые железом. В городе, как после пронесшейся бури, наступила странная тишина. Город снова стал жить своими меркантильными интересами, куплей и продажей...

На берегу варварской реки, под сенью русских дубов, под этим печальным и бледным небом, раскрыв Иоанна Геометра, я сидел и не мог насладиться стихами. Перед глазами стояли события последнего времени. Морское сражение у берегов Готии и пылающий во мраке ночи черный корабль «Жезл Аарона»... Падение Херсонеса... Путешествие в Готию... Мои безумные слова о любви...

Теперь мы с магистром сопровождали Порфирогениту в далекий гиперборейский город, как пленницу, хуже – как погребенную при жизни.

Прошло десять дней с того часа, как мы покинули Херсонес. Огибая мысы, мы приплыли к острову святого Георгия, где Владимир, невзирая на глухой ропот недовольных воинов, велел срубить священный дуб, которому поклонялись язычники. Потом двинулись дальше. На одной из ладей стояла квадрига, снятая с триумфальной арки Феодосия. В остриях солнечной короны триумфатор все так же правил колесницей, а кони навеки застыли в прекрасном порыве, подняв в воздухе тонкие ноги.

От Крарийской переправы мы стали подниматься к порогам. Конница шла берегом, готовая отразить нападение кочевников, имеющих обыкновение нападать в этих опасных для путешествия местах на русские ладьи с товарами. Однажды мы услышали вдали глухой шум падающей воды. Это были описанные с такой точностью багрянородным автором пороги.

Мы поднимались все выше и выше, и мимо бесконечной лентой двигались навстречу покрытые растительностью берега. Иногда плакучие деревья опускали свои ветви к самой воде, иногда зеленели рощи дубов. На многие стадии тянулись ровные пространства, заросшие серебристой, странной для наших глаз травой, которая колыбалась на огромном пространстве, как море. Мне казалось, что я попал в какой-то иной мир, на другую планету. Все было иным на берегах Борисфена – воздух, небо, растительность.

Семь порогов отделяли нас от Самбата. Первый называется «Малым», так как проход через него наименее труден для людей. Второй носит название «Бурление воды», и река образует здесь страшный водоворот. За камнями третьего порога стоит тихая заводь, наполненная мириадами рыб. Варвары ловили их сетями, а потом варили в котлах водянистую похлебку, заправив ее солью, лавровым листом и перцем. Отсюда руссы поднимаются к четвертому порогу, который называется «Пеликан», потому что в его утесах и на берегу в здешних местах гнездятся эти прожорливые птицы. Здесь тоже нападают на путешественников кочевники, и порог очень труден для прохода. Руссы вытаскивают ладьи на берег и волокут их по земле, а легкие лодки несут на плечах пятьдесят стадий. Пятый порог носит название «Шум» – вода его производит ужасный грохот, за которым трудно слышать любую речь. Шестой называется «Островом». Седьмой, за которым уже лежит свободный путь в Самбат, руссы называют «Не спи!».

Я пытался читать стихи, написанные с такой нежностью нашим поэтом. Но меня отвлекали крики варваров, падение воды, наполняющее воздух непрерывным шумом, и вся необычная обстановка переправы через порог. Он в этом месте представляет собой скалистый гребень. Вода низвергается со скал бурным водопадом, и воздух вокруг полон сырости от мельчайших радужных водяных частиц. Жутко смотреть на силу, с которой потоки стихии обрушиваются на камни.

Варвары выгрузили товары, вытащили на берег челны, сняли с ладьи квадригу Феодосия. Некоторые ладьи они подняли на плечи и понесли вдоль берега, а под большие подкладывали катки и волокли их, как обыкновенные повозки. Так же варвары поступили и с тяжелой квадригой. Полуголые люди тянули огромную тяжесть квадриги и выкрикивали метрическую песню, чтобы соразмерить общие усилия. Мышцы напрягались на обнаженных спинах и прекрасных варварских руках. Выгибая мощные выи, варвары топтались на одном месте, пока им не удавалось продвинуть на один локоть тяжесть квадриги. Другие подкладывали вальки, мазали их салом. Квадрига медленно ползла.

Конница ушла далеко в поле. Оттуда прилетал к реке осенний ветер, пахнувший увядающими травами, свежестью мяты, горьковатым запахом полыни. На берегу росли кудрявые дубы. Над деревьями летали белые лебеди. Воины со смехом пускали в них стрелы. Пронзенные ими, окровавленные птицы падали на берег, широко раскинув блистающие белизной крылья. Владимир, в пурпурном плаще, с жемчужным аграфом на плече, задумчиво смотрел на воинов, перетаскивавших ладьи.

О чем он думал в это мгновение? Или вспоминал яркий запекшийся от поцелуев рот Анны? Ее нежные руки? Сколько женщин он целовал на своем веку? Смуглых пленниц из шатров, сделанных из верблюжьей шерсти, сероглазых славянских дев, холодных варангских дочерей, черноглазых хазарок, христианок из Херсонеса! Чем были для него женщины? Добычей войны. Но увидев наше поклонение перед сестрою базилевсов, услышав наш почтительный шепот в ее присутствии, он понял, что Анна не похожа на других женщин, ангел, слетевший в его варварскую страну. Он смотрел на Анну влюбленными глазами, а она улыбалась ему в ответ. Неужели она забыла в объятиях этого человека о судьбе ромеев?

Я сидел на камне под прибрежным дубом с раскрытой книгой Иоанна Геометра в руках и смотрел на быстрое течение воды. Мы только что перешли последний порог. Снизу доносился его шум, похожий на отдаленный рокот моря. Перетащенные ладьи стояли у берега, уткнувшись в песок. Вечернее солнце покрывало пурпуром речные струи. На фоне золотого неба отчетливо застыли черные кони квадриги, конские ноги, взлетевшие в легком порыве в пространство, и было видно каждое острие на солнечной короне героя. На берегу дымились костры, на которых руссы жарили добычу лесных охот – огромных черных вепрей и лебедей. Запах жареного мяса мешался с запахом дыма, с вечерней свежестью воды.

Подперев голову рукою, откинув полы серого дорожного плаща, я сидел на круглом камне и смотрел на полуголых воинов, рассекавших туши животных, на дубы, листва которых была в слоистом синеватом дыму, поднимавшемся от костров и плывущем в воздухе. Когда мой взор находил ромейский корабль, с такими усилиями доставленный в скифские пределы, я отворачивал лицо, чтобы не терзать себя. Напротив хеландии, на берегу был разостлан ковер, и Владимир сидел рядом с Анной, окруженный друзьями. С ними он делил сражения и пиры. По своему варварскому обычаю, они пили вино. Окованный серебром рог переходил из рук в руки. Три слепца, опустив на грудь белые бороды, перебирали струны варварских лир. До меня доносились в тихом вечернем воздухе рокот струн, возбужденные голоса, бульканье изливавшегося из сосуда вина. Владимир крикнул лирникам:

– Спойте нам песню про синий Дунай!

Лирники рванули струны. Князь слушал, закрыв глаза, забыв о турьем роге, который предлагали ему осушить друзья. Когда слепцы начали строфу о великом русском герое, погибшем где-то в этих местах, на берегах Борисфена, слеза скатилась на светлый ус князя. Анна смотрела на него сострадающими женскими глазами, как будто она была не Порфирогенита, а самая обыкновенная женщина, покупающая для мужа овощи для похлебки, пекущая хлеба, моющая на портомойне одежду.

Необыкновенная тишина стояла над берегами Борисфена, нарушаемая только далеким шумом воды. Угомонились птицы. Сильнее запахло речной сыростью. Далеко в степях ржали русские кони.

Слепцы пели:

Тогда Святослав посмотрел на прекрасное солнце,  
В последний раз вздохнул и рухнул, как дуб...

Проходивший мимо пресвитер Анастасий сказал мне по-гречески:

– Чтением услаждаешь душу?

Я не пожелал ответить ему и отвернулся. Вид этого предателя был мне ненавистен. Но Анастасий продолжал:

– Книжные слова утешают нас среди горестей...

– Каких горестей? – не выдержал я.

– Разве мало огорчений выпало на долю ромеев?

– Ромеи непобедимы, – сказал я, – а тебя, предавшего христиан, ждет геенна огненная.

Анастасий постучал пальцем по лбу.

– Хитры, как змеи, ромеи, но разум ваш мал. Свет христианства для всех людей. Даже для варваров.

Анастасий по происхождению был славянин. Что ему Рим!

Вместе с русскими воинами, пользуясь надежной защитой от кочевников, в Самбат направлялись из Херсонеса купцы. Среди них один иудей по имени Авраам. Он ехал с тремя сыновьями в Самбат по торговым делам. Хотя этот был израильтянин, потомок тех, которые распяли Христа, но я не пренебрегал беседами с таким любопытным человеком. Он рассказывал мне о своих путешествиях, о хазарских городах и обычаях, о славянском городе Фраге, где строят дома из каменных материалов.

– Славян много, как песчинок на морском берегу, – говорил он, – если найдется человек, который объединит их, они покорят весь мир.

По обычаю хазарских купцов, Авраам носил меховую шапку, длинный кабат, опоясанный пестрым платком, широкие сарацинские штаны. Борода у него была, как у библейских патриархов.

– Удастся это Владимиру?

Авраам пожал плечами.

– Никому не известно, какая судьба приготовлена для руссов Всевышним. Хазары говорят, что первого русского воина вскормила своими сосцами собака. Оттого-то они и бросаются на всех, как псы. Они жадны и хотели бы обладать всем на земле. Страшные люди! Посмотри на их мышцы! Кто может противостоять такому народу? Была Хазария, страна золота, и нет теперь Хазарии! А им что! Размножаются, как песок морской. Сегодня неприятель сожжет их город, а завтра они построят новый. Они неуязвимы в своих пространствах.

Рассказ о собаке поразил меня. Я учил в свое время, что первого ромея вскормила волчица. Совпадение или подражание?

Слепцы кончали песню:

Не забудем мы твоих великих дел,  
Твоих страданий за русскую землю...

Русская земля! Откуда она родилась? Возникла из ледяного небытия? Откуда возникла громоподобная музыка этого мира? Родилась в огромных пространствах? Увы, мы не внимали, мы проглядели...

Ночь путешественники провели под открытым небом, в ладьях, завернувшись в хламиды и овчины. Над Борисфеном стояли звезды. В прибрежной роще фыркал барс. Ладья покачивалась на воде, как колыбель, но я не мог уснуть. А все вокруг было спокойно. Нас охраняли победы Владимира. Он тоже спал с Порфиригенитой на корабле. Однажды мне послышался в той стороне счастливый женский смех.

Рядом со мной лежал магистр Леонтий. Было нелегко в его годы предпринять такое утомительное путешествие. Под другой овчиной кашлял во сне Димитрий Ангел. На реке плескались огромные рыбы.

Чувствуя, что мне все равно не уснуть, я стал перебирать в памяти события путешествия. Оно было странно, как сон, как дорога в Эфиопию. Вепри, выбегающие из дубовых рощ на водопой, горы рыб, пойманных сетями у порогов, стаи лебедей, квадрига, ползущая на катках по берегу Борисфена!..

Больше всего занимал мой ум Владимир. Князь стоял передо мной, как живой, – голубые глаза, белые варварские зубы. В этих голубых глазах сияла прекрасная решимость. В его мышцах напрягалось мужество. С каким искусством он обошел все козни наших хваленых

магистров! Но есть в нем какая-то завидная легкость, широта великодушия. Я слышал, как он говорил, пируя с воинами на берегу:

– Друга, что мне серебро! Серебром я не куплю друзей, а с друзьями найду достаточно серебра и золота. Не пейте из рогов и деревянных кубков, пейте из серебряных чаш!

Рабы принесли из ладей серебряные сосуды, и князь дарил их воинам. Нас тоже позвали на пир. Мы тоже пили вино и получили по серебряной чаше. Пировали в тот день до поздней ночи. Я еле-еле добрался до своей лодки, хотя и выплескивал вино на землю. А Владимир, как будто и не было пира, потребовал коня и уехал в поле. С ним отправились другие. Когда взошло солнце, они вернулись, звеня оружием, пахнущие росой, зверем, конским потом.

Снова мы двинулись в путь, и опять поплыли мимо блаженные берега Борисфена. Владимир спешил. Торопились и гребцы, тоскуя по своим оставленным женам. Уже руки их покрылись мозолями. Но они неустанно гребли, и мускулы играли на обнаженных спинах.

Была очередная остановка на ночлег. По обыкновению, воины развели костры, чтобы приготовить пищу. Владимир ускакал куда-то со своими воинами. Рыжий конь перебирал ногами, играл, взбираясь боком на кручи берега, и ветер развеивал его белую гриву. Длинный меч бряцал о золоченое стремя. Грызя удила, конь побеждал крутизну. Позади ехали воины, сверкая шлемами, все в голубых, красных, зеленых плащах. Может быть, они отправились на звериный лов.

Анна сошла на берег со своими греческими прислужницами. Женщины, утомленные путешествием, с радостью ступили на землю, бродили по песчаному берегу, переглядывались с голубоглазыми воинами. Думаю, что многие из них уже узнали русские поцелуи.

Я стоял у дуба, когда Анна проходила мимо. Под ее зелеными башмачками хрустели белые камушки. У меня забилося сердце.

– Здравствуй, патриций, – сказала она, и в ее глазах мелькнул огонек.

Может быть, она вспомнила о путешествии в Херсонес, о моих безумных словах.

– Скоро Самбат, госпожа. По прибытии в этот город мы оставим тебя и возвратимся в ромейские пределы. Повели рабу твоему!

Я осмелился взглянуть на нее. Ее лицо было похоже на неправдоподобный сон. Нарушался благочестивый порядок нашей жизни. Вот, дочь базилевса, не в благоговейной тишине гинекея, а на берегу варварской реки, и я, простой смертный, обращаюсь к ней с докучными словами! Листья дуба зашелестели над нами от прилетевшего ветерка. Анна глубоко вдохнула свежий воздух. Уже веяло северною свежестью.

– Нет, – покачала она головой, – мне ничего не надо. Мне хорошо здесь...

Ноздри ее трепетали. Увы, багрянородная променяла славу Рима на скучное скифское царство, а сердце ее веселилось. Закрыв глаза, она улыбалась. Вспомнила руки варвара, ласкавшие ее смугловатые перси? Приближался Анастасий. Не желая встречаться с ним, я поклонился и отошел. Но пресвитер крикнул:

– Устал, патриций? Ладья – не ложе.

Не глядя на него, я ответил:

– Отойди от меня. За тридцать скифских сребреников ты продал христиан.

К счастью, Димитрий Ангел спешил ко мне. Усталый и больной, но жадный до всего нового, он был взволнован открывшимся ему миром.

– Какая река! Какое обилие рыбы!

– К чему все это, Димитрий?

– Нет, хорошо! Золото в этой стране течет рекой. Какие храмы я построю в Самбате! Сколько здесь зверя, меду, молока! Сладостно пахнет зажаренный вепрь. Ешь, пей, веселись, душа!

Он был прав. Иная жизнь, полная свежести и обилия, цвела на берегах этой реки. Иной воздух веял над Борисфеном. С какою радостью вдыхала его Анна! А мне был милее наш

строгий ромейский мир с его точными канонами и правилами, с его литургиями и псалмами. Он был совершенен, как купол святой Софии. В его центре сиял, как солнце, базилевс, хранитель вселенских соборов. Русский воздух был не для меня. Он волновал, манил в туманные дали, где теплыми грудными голосами пели сероглазые девы и ржали среди полынного запаха скифские кони.

В одно прекрасное утро, когда туман еще стлался над рекой, мы приплыли в Самбат. Последние переходы делали даже ночью, потому что воины сгорали от нетерпения увидеть свои очаги. Протерев глаза, мы увидели на высокой горе странный бревенчатый город. На земляных валах стоял частокол. Деревянные башни были прекрасны, как на иконах. За башнями занималась холодная северная заря.

– Проснись, магистр, – сказал я Леонтию, – вот мы и приплыли в Самбат!

После сна воздух леденил. Кутаясь в хламиду, магистр отогнал остатки сонных видений, стал шептать молитву. Так он начинал каждый свой день; совершенно изнуренный дорогой, он не забывал ни о чем. А я отвык молиться. Раскрыв рот, я смотрел на бревенчатый город. Утренние дымы поднимались над стрехами его домов. Вдруг растворились городские ворота, и толпы людей выбежали к нам навстречу.

Лады с разбега приставали к берегу, и воины, по колени в воде, вытаскивали их на песок. Все весело перекликались по поводу счастливого возвращения. Воины бросали на землю из ладей охапки добычи, оружие. Тысячи женщин сбегали с горы с радостными воплями. Они были в белых рубахах, расшитых вокруг шеи красными и синими узорами. На шеях у них висели ожерелья из серебряных монет или красные и зеленые бусы. Мужья, братья, сыны протягивали им навстречу огромные руки, обгаренные кровью христиан.

Не всем суждено было вернуться домой. Старуха плакала, обняв руками голову. Должно быть, сын ее не вернулся. Молодая женщина с необыкновенно нежным и румяным лицом заламывала руки, билась в рыданиях на земле, а седоусый воин, нахмутив брови, держал перед нею меч убитого мужа, его секиру, обшитую мехом шапку, обувь. Дети кричали, глядя на мать, размазывая кулачками слезы. Другая женщина прижимала к своей красивой груди высокого воина, а тот смеялся и держал в руках ее обезумевшую от счастья, растрепанную голову. Еще одна царапала лицо ногтями, срывала ожерелья.

Ей было легче, чем мне. Она хоть могла царапать лицо, плакать, биться о землю. Я принужден был таиться. Самбат предвещал мне вечную разлуку. Зачем посетила меня неразделенная любовь! Магистр приблизился и сказал, едва сдерживая слезы:

– Улетает от нас наша голубка навеки!

Самбат, представившийся нашему зрению в такой красоте, при ближайшем знакомстве оказался обыкновенным варварским городом, зловонным и неустроенным, как все города, не знающие римской канализации, акведуков и геометрической распланировки. На холмистых улицах этого города бревенчатые дома построены в беспорядке и без всякого плана. Только немногие из них имеют дымоходы. В других, когда женщины топят очаги, дым выходил наружу сквозь щели в крышах, превращая хижины в некое подобие огромных деревянных каминов. Тут же, в бревенчатых пристройках или за плетеной загородкой, помещаются домашние животные. На заре пастухи играют на свирелях, собирают скот и выгоняют коров, овец и баранов за городские ворота. В этом городе хозяйки выливают нечистоты около своих жилищ, а прохожий, где придется, отдает дань природе. Впрочем, дожди и ветры в какой-то степени очищают город от зловония.

Посреди Самбата находится обширная площадь. На ней происходят народные собрания и в определенные дни производится торговля. К площади примыкает дворец князя Владимира, весь в прихотливой резьбе, с витыми колонками галерей. Своими узорами он напоми-



нает искусные книжные украшения в рукописях. Недалеко от этого дворца и стояли на холме кумиры.

Я видел на острове Хортице священное дерево идолопоклонников. В листве огромного дуба гнездились птицы, наполняли воздух пением и шумом крыльев. Язычники считали, что в этом шуме обитает Божество. Как неразумные дети, они искали Его присутствия в таинственных рощах, в тишине леса, там, где струятся целебные источники. Им казалось, что голос Бога устрашает их в громе и молниях бури. Они всюду искали Его и не находили. Владимир поставил на городском холме кумиров, но эти чудовища не дали успокоения его сердцу. Как слепец, он искал истинного Бога. У него была смутная потребность поставить во главе мира некую силу, которая дала бы оправдание земной жизни в чем-нибудь более высоком, чем ежедневное прозябание. О существовании Творца мира до его ушей долетали только намеки. Потом он узнал от христиан о Боге, сошедшем на землю ради спасения людей. До его ушей доходили рассказы о величии литургии в святой Софии.

Вокруг холма, на котором были воздвигнуты идола, торчали на высоких шестах побелевшие от дождей лошадиные головы. Огромный плоский камень изображал жертвенник, на котором жрец убивал животных. Некоторые части жертвенного мяса сжигались, другие раздавались бедным. Лучшее жрец брал для своего стола, а кости выбрасывал. Ночью приходили собаки и доедали остатки жертвы.

Выше всех идолов был Перун, славянский бог грома, русский Юпитер. На огромном деревянном туловище была поставлена отлитая из серебра голова с золотыми усами. Круглые глаза бога смотрели с дьявольской злобой. В грубо высеченных руках он сжимал пучок молний, ложный громовержец. Мы пришли посмотреть на него, плевались от омерзения, а он был бессилен наказать нас, жалкий истукан, сделанный руками и невежеством человека.

Среди идолов мы увидели также, к великому нашему удивлению, статую Аполлона. Отлитая из бронзы, позеленевшая от гиперборейского климата, она вызвала восхищение Димитрия Ангела. Олимпийский бог держал в руках лиру, нагой, древний, весь в помете диких голубей. Холм, на котором стояли идола, назывался его именем. Ведь «Ликофрос», поражающий волков, – один из титулов олимпийца. Каким образом попал он в скифские пределы, объяснить мне никто не мог. Но напрасно искал он убежища в таком отдалении. И здесь настигла его карающая десница.

– Какие божественные формы! Какие пропорции! – восхищался Димитрий Ангел, не очень твердый в делах церкви.

Но магистр Леонтий, суровый во всем, что касалось христианского взгляда на жизнь, бормотал:

– Спасение души важнее, чем пропорции человеческого тела...

Судьба сделала меня свидетелем многих необыкновенных событий. Но, может быть, самым важным событием мировой хроники, при котором я присутствовал, было низвержение этих идолов и крещение целого народа.

Огромные толпы руссов собирались перед дворцом. То, что предпринял Владимир, казалось варварам чудовищным и непонятным. Но Владимир настаивал, убеждал, приводил наивные доводы. Три тысячи воинов, почти все христиане, готовы были оружием поддержать силу его красноречия, и я своими глазами увидел, как в одно солнечное утро, когда ангелы ликовали на небесах, языческий Борисфен стал новым Иорданом, превратившись в огромную купель христианства.

На заре Самбат наполнился женским плачем. От нас скрывали, что происходит в городе, но мы узнали, что были столкновения между язычниками, упорствующими в идолопоклонстве, и христианскими воинами Владимира. Ради безопасности мы находились во дворце князя: язычники могли в раздражении поднять на нас руку. Улицы были полны народу. Я слышал со всех сторон взволнованные разговоры:

- Проклятые греки! Околдовали нашего князя!
- Не отдадим на поругание Перуна, светлого бога!

А какой-то человек в рубахе до колен говорил:

- Нам все равно, Перун или Илия. Был бы хлеб в житницах.

В городе и раньше было много христиан. На склоне горы стояла деревянная церковь первой христианской общины.

В еврейском квартале, где жили купцы из Хазарии, я видел Авраама. Старик грустно качал головой:

- Боюсь, что и здесь будут гнать и преследовать детей Израиля...

Толпы народу спускались к реке – женщины, мужи, старики, дети. Кое-где я видел отряды вооруженных воинов. Леонтий ходил торжествующий:

- Поверь, патриций, что это большая победа, нежели на полях сражений!

В реке, по пояс в воде, стояли тысячи людей. Некоторые из них держали на руках детей. Священники на берегу читали положенные в таких случаях молитвы. На пурпурном ковре Анна, принесшая себя в жертву ради торжества нашей церкви, молилась в пышных одеждах...

Ветви самбатских дубов уже теряли свою листву. Лебеди пролетали стаями высоко в небе, направляясь к Понту. Анна смотрела на них и, может быть, жалела, что не могла улететь вместе с ними.

В эти дни я видел ее только мельком, среди людей, издали. По случаю торжественного события был устроен на городской площади пир для всех желающих. Тут жарили целых быков, баранов, свиней и варили в огромных котлах хмельное питье. Для тех, кто не мог явиться на пир по болезни, и для старцев развозили яства в телегах. Возницы громко кричали, приглашая отведать мяса и питья.

Но не все пожелали принять веру Христа. Тогда Владимир пришел к холму, на котором стояли идолы, и воины повергли их на землю. Женщины завопили, когда рухнул и колодой скатился с холма огромный Перун. Князь был в гневе. По его приказанию идола привязали веревкой к хвостам табуна диких коней, и кони помчали его в поле на посмеяние. Надругавшись над идолом, его бросили в Борисфен. Огромным бревном Перун покачивался на воде и приплывал к берегу. Воины отталкивали идола копьями, а женщины плакали и не хотели расстаться со своим ложным богом. Им казалось, что может загрохотать в небесах гром и поразить людей, поднявших руку на божество. Но небеса молчали. Подхваченный течением, Перун уплывал к порогам...

На том месте, где стояли идолы, Владимир велел Димитрию Ангелу построить церковь. Утомленный путешествием и суровым климатом Скифии, Ангел таял у нас на глазах. Его строительные мечты еще ждали воплощения. Строить было трудно. Не было достаточного числа рабочих, не доставало камня. Усталый и больной, он следил пока за постройкой маленькой церкви. Мы собирались в обратный путь.

Последние дни перед отъездом я бродил по городу, всходил на бревенчатые башни. Я поднимался по скрипучим лесенкам, а наверху, под круглыми крышами башен, выл среди балок и перекрытий холодный ветер. Отсюда было удобно смотреть на туманный Борисфен.

Иногда я приходил поговорить с Димитрием на постройку. Там дымились огнеобжигательные печи, каменщики тесали камень, месили известь в ямах. На месте будущей церкви поднимались леса. Греческий язык мешался здесь со славянским.

Димитрий грустно улыбался.

- Начнем с малого строения. А помнишь? В три дня воздвигну храм...

Проверяя точность кладки стены, он держал в руке отвес, и свинцовый груз раскачивался от припадка его убийственного кашля.

- Хотелось бы построить что-нибудь огромное, прежде чем умереть...

Я понимал его. Не стоит жить на земле ради маленьких дел. Только великие предприятия могут оправдать наши муки и самый смысл нашего существования на земле. Счастлив тот, кто может сказать в последний час: «Я жил, я трудился, я творил!»

После Димитрия останутся его стихи и церкви, которые он построил; церковь в Фокиде, прекрасная, как Нея в Константинополе, со своими аркадами, фонтанами, в которых вода изливается из львиных пастей и орлиных клювов, и другие. А что останется после меня? Ничего! Горсть праха, которую развеет ветер времени, да память в сердцах моих немногих друзей, которая угаснет. Но не будем предаваться отчаянью. Все-таки и мы можем сказать о нашей жизни, что она была прожита не даром. Мы трудились, страдали, любили, молились, сражались. Было и в нашей жизни необыкновенное. Мы прожили ее в страшную эпоху, когда все рушилось, когда не было уже никаких иллюзий. Но никто не может упрекнуть нас в слабости, в том, что в решительный час у нас не хватало силы выхватить из ножен меч. Пусть другие сидели с женщинами у огня, спали в тепле постелей, обжирались мясом и хлебом. Мы разделили с благочестивым труды и лишения, бессонные ночи, поля сражений и все его предприятия.

Наступал срок отъезда. В тот день впервые в воздухе летали снежинки. Надо было торопиться. На реке стучали топоры – воины починяли ладьи, чтобы плыть с нами в обратный путь. Мы явились с Леонтием Хризokeфалом и нотариями, чтобы в последний раз поклониться Порфиригените, которую мы оставляли среди варваров. Она сидела вместе с Владимиром на скамье, покрытой драгоценной материей. Пресвитер Анастасий сутился вокруг стола, на котором лежали письма для базилевсов и дары – мешочки с янтарем, с драгоценными камнями, с золотыми монетами и с жемчугом. На полу валялись великолепные меха. В дверях теснилась челядь. Все было просто в этом варварском государстве, и церемониал прощания был не сложен. Мы пали ниц и поклонились. Мысленно я шептал: «Прощай, Порфиригенита! Настало время расстаться с тобой навеки!»

Леонтий Хризokeфал и Анастасий тщательно пересчитывали монеты и записывали их количество на пергаменте. Рабы увязывали в тюки меха. Один из нотариев проверял их по списку. Приходили и уходили воины, в помещении была суeta. Меня толкали, а я думал о том, что неразделенная любовь дала мне только муки. Но она и была тем необыкновенным, что осветило мою жизнь странным и прекрасным сиянием. Ни за какие сокровища в мире не отдал бы я этих мук. Переживая их, я узнал, что на земле существует и рай. Правда, мне не было позволено войти в него. Однако от этого он не перестал быть раем. Не все бесцельно на земле. Люди копошатся, как черви, устраивают свои маленькие делишки. Ничего не останется от них, а моя любовь переживет века. Чем была бы моя жизнь, если бы судьба моя была подобна судьбе других людей? Я могу представить себе это. Спокойная жизнь, добродетельная супруга – отпрыск древней фамилии, дети – утешение в старости, может быть, белая хламида магистра или даже кодицелла консула.

Леонтий Хризokeфал высыпал на стол последний холщовый мешочек, держа его как за уши. Один солид со звоном упал на землю и покатился по полу. Нотарий с подобострастием поднял его и положил на стол. Магистр стал подсчитывать монеты, никому не доверяя, с опаской поглядывая на Анастасия.

– Запиши, нотариус, – сказал он, – триста солидов.

Нотарий омакнул тростник в чернильницу...

Мы отступили на несколько шагов и вновь упали ниц. Прижимая лоб к дубовым доскам пола, я думал, что никогда уже не увижу Анны.

Но почему даже в минуту расставанья душа моя испытывала блаженство? Нельзя изменить судьбу человека. Один рождается в пурпуре, другой в хижине свинопаса. Сын свинопаса не может надеяться на любовь рожденной в пурпуре. Небо послало мне это испытание. Я не ропщу...

Прижимая лоб к полу, я мысленно говорил: «Благодарю тебя, что я мог взглянуть на твое лицо, сказать тебе несколько слов, услышать твой голос, попасть в поле зрения твоих прекрасных глаз. Благодарю тебя за то, что твоя душа посетила мир в те годы, когда и я жил на земле, ступала там, где ходил и я, молилась в церквах, в которых и я молился».

В третий раз мы упали ниц...

Анна сидела на скамье, улыбаясь нам, покидающим варварские пределы. На голове ее был белый убрус, увенчанный золотой диадемой. Из-под одежды видны были зеленые башмаки, вышитые жемчугом.

Прощай, Анна! Когда я буду умирать, на постели от болезни или яда, на поле сражения или на погибающем среди бури корабле, моя последняя мысль будет о тебе.

Отроки подняли на плечи связки мехов и понесли по улицам Самбата к реке. Нотарии несли мешочки с золотом. Люди выходили из своих жилищ, чтобы посмотреть на греков.

На Борисфене уже стояли лады, приготовленные для нашего путешествия. Их должны были сопровождать четыреста воинов. В Херсонесе нас поджидал ромейский корабль, чтобы отвезти в Константинополь. Надо было торопиться – приближалась зима, а в зимний период плавание по Понту сопряжено с опасностями. Зимние бури в Понте наполняют человеческую душу ужасом.

Лады отчалили одна за другой, понеслись по течению. Река вздулась от осенних дождей, бурлила. Я поднял глаза. Высоко на горе стояли бревенчатые башни Самбата. На городской стене можно было рассмотреть группу женщин. Может быть, то была Анна со своими прислужницами. Некоторые из них махали платками. Оставленные в городе варваров ромейские жены прощались с нами, желали счастливого пути. Димитрий Ангел, которого мы покинули на одре болезни, не провожал нас. Он лежал в хижине, в жару, бредил своими храмами. Смерть уже витала над ним. Но мы торопились исполнить жестокую волю благочестивого.

Как два вола, изнемогая под ярмом, отгоняя злых насекомых, мы владели тяжелой колесницу ромеев. Со страшным скрипом и грохотом она двигалась в темноте мировой ночи. Но как будто становилось уже легче дышать с каждым годом. Злые русские псы превратились в охранителей нашего стада. С их помощью мы разгромили в Азии силы Варды Склира.

Не будем останавливаться на этих событиях. Огромное число мятежников было перебито, остальные разбежались, скрываясь, как дикие звери, в лесах Тмола. Варда Склир попал в наши руки. Пленника привели к базилевсу из пыла битвы, даже не успев снять с него пурпурных кампаний. При виде этого жалкого человека, тучного, с мешками под глазами, с трясущимися руками, благочестивый воскликнул:

– И перед таким человеком мы еще вчера трепетали!

Помня о прежних заслугах Склира, Василий не предал его смерти, а сослал в отдаленный монастырь. Там он мог предаваться до конца дней размышлениям о своей бурной и полной превратностей жизни.

Мне запомнился разговор благочестивого с Вардой Склиром.

Склир стоял перед ним и тяжело дышал. У него было кровотечение из носа. Видимо, один из воинов ударил его по лицу. Склир вытирал рукою кровь, но она запачкала бороду, одежду, руки. Базилевс пронзительными глазами смотрел на пленника. Потом сказал:

– Конец, Варда? Теперь уже никогда не услышать тебе шума битвы...

– Конец... – прошептал пленник.

– Чего бы ты хотел теперь?

– Смерти. Устал...

– Ах, Варда, Варда! Если бы не ты, не пришлось бы мне отдать Анну руссам! Я послал бы тебя защищать Херсонес. С твоим умом и решиться на такое безумие! Воины, уведите его...

Склира увели в шатер. Три воина остались ночевать с ним. Я поднял полу шатра и взглянул на пленника при свете факела. Он сидел на земле, закрыв лицо руками. Уже с него сняли кампагии. Босые ноги были в грязи. Его вели от базилевса по лужам, шел дождь...

Изливалось в небытие быстротекущее время. Все внимание благочестивый обратил на запад, где надлежало истребить болгар и богомилов. Двадцать пять лет прошло в непрерывных походах. Василий метался, как лев в клетке, двадцать пять лет не снимал панциря. Когда положение становилось критическим, на сцену выступал шеститысячный отряд руссов. Шесть тысяч мечей и секир страшной грозой обрушивались на врагов. Так серп жнет жатву в солнечный день.

Давид Арианит и Константин Диоген опустошили Пелагонию. Третья часть добычи была отдана руссам, две другие части поделили между собою базилевс и ромейские воины. Сколько битв, имен погибших и названий городов встает в памяти! Кастория... Ларисса. Дирахуим... Веррея...

Я помню, как мы получили из осажденного Дористолона на Истре письмо от Цицикия, сына патриция Федота Иберийца, как мы поспешно собрались в поход, как осаждали Сетену, где находились бревенчатые дворцы и житницы Самуила. Враги чувствовали, что их силы иссякают. Драма приближалась к развязке...

Июния пятнадцатого дня, третьего индикта, 6522 года, благочестивый вновь повел нас на варваров. С пением псалмов и с рукоплесканиями, потому что смерть воина на поле брани подобна смерти у подножия креста, медленным потоком, под ржанье коней и скрип воев, гвардия, эскувиты и силы фем двинулись в неприступные горы Македонии. Вздывая пыль на горных крутых дорогах, впереди шла конница мужественного Феофилакта Вотаниата. За нею передвигались воины фракийской фемы, испытанные в сражениях, и отряд страшных руссов. Я с изумлением смотрел на этих людей, равных которым нет и не будет на полях сражений. Среди них были варяги и славяне. Славянский язык напомнил мне, что на берегу Борисфена, в далеком бревенчатом городе, под сенью русских дубов покоится в мраморной гробнице Анна, неугасающий светильник моей жизни.

Страторы вели попарно сто коней базилевса. Арабские и каппадокийские жеребцы были покрыты пурпуровыми попонами с вышитыми на них орлами и крестными знаками. Из рук кинигов рвались на цепях злые псы. Над челками коней покачивались страусовые перья.

Василий ехал верхом в простом воинском плаще, под которым блистал панцирь. Запавшие от бессонных ночей голубые глаза и гневные дуги над ними выражали непреклонность воли, постоянство решения. Борода базилевса поседела, на лице легли бороздами морщины – следы болезней, забот и лишений. Ради спасения ромеев он одинаково терпел зной сарацинских пустынь и холод да стужу варварских зим. Совершенной полусферой висел в воздухе купол святой Софии, символ небес на земле. Как орлица, покрывал он крыльями всю нашу жизнь. Но в страшное время жили христиане. Уже разрушили нечестивые агаряне Гроб Господень, уже ускользали из рук базилевса наши дивные владения в Италии, со всех сторон нас теснили враги. Теперь благочестивый решил навсегда сокрушить ярость мизян.

Я вспомнил стихи Иоанна Геометра:

Рычи, о, лев!  
Пусть прячутся лисицы в норы,  
Услышав твой прекрасный рев...

Пиит, ты написал пророческие строки! Вот рычит наш лев, вот восходит над землею солнце нашей славы. Самуил трепещет в норах македонских ущелий. Но будем справедливы даже к врагам. Не трусливая лисица пряталась в Немице, а достойный соперник базилевса,

тоже из львиной породы. Когда он рычал в долине, стены нашего города сотрясались. Теперь выходили на единоборство два льва...

Мы шли по разоренной стране, мимо селений, покинутых богомилами. Непостижимо было, как могли существовать люди в такое страшное время. Все несчастья низвергнулись на нас из ада. Всюду, куда ни падал взор, – пепелища, руины, рухнувшие купола церквей, оставленные пахарями нивы, стаи черных птиц. Но по милости Иисуса Христа мы еще поражали врагов, избивали толпы варваров, пленяли их, покрывали ранами их тела.

Наступали сумерки. Лиловые горы поглубели, подул прохладный ветерок. Затрубили трубы, повелевая воинам остановиться. Перестали скрипеть возы. Я осмотрелся, выискивая место для лагеря. С обеих сторон возвышались дикие горы. У дороги лежало селение, превращенное пожаром в груды пепла. Где были его жители? Что случилось с их имуществом? Несчастные спрашивали себя, за что обрушились на них такие испытания и горести, и не находили ответа.

Василий слез с коня. Стратор поцеловал его руку, принимая повод. Базилевс сказал:

– Здесь мы предадимся отдохновению.

Патриций Никифор Ксифий велел разбить шатры. Запахло дымом лагерных костров. Воины приступили к принятию пищи. Но свинцовый сон смыкал наши вежды. Еще раз, положив на землю щиты, служившие нам в походе постелями, мы стали устраиваться на ночь. Христолюбивые воины уснули. Только в шатре базилевса еще долго блистал огонек светильника. У шатра стояли на страже руссы с секирами в руках.

Когда на востоке вспыхнула розовая заря, мы снова двинулись в путь, оставив после себя золу костров, навоз, человеческий кал и обглоданные кости. Войска двигались медленно. В дороге было время подумать о многом. О чем я думал, сидя на муле? О смерти. Мне казалось, что она уже витает надо мною. Сердце сжималось от тяжелых предчувствий. Но, может быть, сказались года? Я уже не был юношей, время текло.

Однажды наши воины схватили в придорожных кустах лазутчика. Под плетями он сознался, что его прислал Самуил, чтобы разведать о количестве наших сил. Лазутчик оказался богомилом. Из любопытства я пошел взглянуть на него.

Еретик лежал на земле, истерзанный, почти лишенный одежды. Он стонал, сжимая голову руками. Судя по виду, это был поселянин, не старый еще человек. Два воина, сторожившие его, занимались починкой обуви, разбитой в походе.

Я присел перед пленником на корточки и спросил:

– Ты богомил? В кого ты веруешь?

Лазутчик продолжал стонать, не отвечая мне.

– В кого ты веруешь, собака? В дьявола или в Бога?

Он перестал стонать, повернул ко мне лицо и с ужасным страданием произнес пересохшими губами:

– Не мучай меня перед смертью. Дай мне умереть!

– Ты умрешь, когда придет твой час. Но лучше покайся перед концом. Не губи души... Отрекись от дьявола!

– Это вы – служители дьявола, – дерзко прошептал лазутчик, – заковали Бога в золото, опьянили себя фимиамом, подобно идолопоклонникам.

– Лжешь! – воскликнул я в негодовании.

– Нет, не лгу! Вы живете в мире сатаны, в греховном и чувственном мире, а мы вздыхаем о другом мире, истинном, созданном Господом, а не сатаной. Там обитают ангелы и бессмертные души праведников...

Воины на время оставили свое занятие и стали прислушиваться к нашему разговору.

– Лжешь! В писании сказано, как был создан мир Господом и как был низвергнут сатана. Он ничего не творил. Только разрушал.

– А я тебе говорю, как учил нас отец Иеремия... Все видимое, землю, растения, человеческое тело, камни, все создал сатана. Потому и погибает мир в грехе, как в блевотине. Не мог Господь создать такой мерзостный мир. Почему я испытываю муки? Потому что родился в царстве сатаны. А вы его служители!

Он закрыл руками лицо и плакал. Я показал рукой воинам, чтобы его убили. Воин с глупым видом смотрел на меня и ничего не понимал.

– Убейте его, ослы! – крикнул я в гневе.

Один из воинов поспешно извлек меч и ударил несчастного по голове.

Я посмотрел на убитого. Еще минуту тому назад он страдал, жил, говорил о Боге. Теперь он лежал бессловесным трупом. Жизнь покинула его. Ноги скорчились в последнем движении мышц и замерли. Кровь капала из рассеченной головы. Сколько я видел их на полях сражений, на месте казни, и каждый раз в моем уме возникали одни и те же вопросы. Куда отлетает человеческая душа? Неужели в этом жалком теле, лежащем в безобразном прахе, обитал Бог? Вот и я хожу, куда хочу, говорю, двигаю руками, ощущаю в руке тяжесть меча. А потом прилетит стрела, и я так же буду лежать без движения, обреченный на гниение? Я вспомнил красивое горячее белое тело Фелицитаты, тяжесть ее сосцов, нежность кожи, ее разгоряченное поцелуями дыхание. Дрожь отвращения пробежала у меня по коже. А двадцатилетняя красота Зои, любовь Евпраксии, худоба Тамар? Неужели все одно и то же – тлен, гниение, смерть? А худоба той? Облеченная в тяжелые парчовые одежды и в пурпуре? Ведь озарена же она для меня каким-то неземным светом? Что это – власть мужской плоти или тревога души? Но чем же отличается тело багрянородной от тела смуглой потаскушки? Значит, не в телесной красоте суть, а в том, какими глазами мы смотрим на нее, с каким волнением, чувственным или духовным.

Воин равнодушно вытер меч о жалкое тряпье убитого.

Потом я ехал на муле, и по спине у меня пробежал мороз от богохульных слов еретика. Мир создан дьяволом! Этот мир, в котором страдали и был распят Христос, в котором слава Господня и пение псалмов наполняет церкви! А какой-то тайный голос шептал мне:

– Так ли уж хорош этот мир? Не сам ли ты не один раз отвращался от него. Помнишь? Вспомни, с каким упоением ты читал Дионисия Ареопагита! Вспомни о книгах Платона, грешных, но прекрасных. Подумай, подумай, патриций...

Я в смятении старался прогнать эти опасные мысли.

На шестой день мы подошли к засекам. За ними лежали плодородные долины Стримона – цель нашего похода. Непреодолимые трудности лежали на нашем пути, но благочестивый пылал величайшим огнем. Этот человек среднего роста обладал душой героя. Поистине, всякий, взирая на него, научался быть смиренным, терпеливым и бесстрашным. Он научил нас почитать сию жизнь сонным видением и не предаваться унынию.

По знаку трубы воины фракийской фемы пошли на смерть...

Как птенцы во время бури, мы окружили благочестивого и шептали молитвы. Здесь были все, делившие с ним в течение стольких лет опасности и труды войны: Константин Диоген, Василий Трахонит, Феофилакт Вотаниат, Давид Арианит, Лев Пакиан, Никифор Ксифий, старики Николай Апокавк и Никифор Уран. Не было только Варды Склира, великого стратега. Не было также и интриганов и сребролюбцев буколеонского дворца, трусов, зоил и лизоблюдов. А над нами проносилась буря истории. Ее тяжкие крылья потрясали воздух. Мы сжимали рукоятки мечей.

Перед тем как повести фемы на варваров, Василий взял из моих рук трость и стал чертить на песке план сражения. Мы обступили его со всех сторон. Старик Никифор Уран слезящимися глазами смотрел на линии, начертанные на песке, и бормотал:

– Разве можно предвидеть все заранее? Захочет Господь, и...

Ксифий зашипел на него:

– Помолчи, отец!

Благочестивый чертил:

– Здесь засеки... здесь Стримон... здесь будут стоять гвардейцы-схоларии. Понятно?

Они ничего ни понимали.

В гористой местности бесполезной оказалась закованная в железо конница «бессмертных», которых называют также катафрактами. Вся надежда была на пеших воинов. Базилевс смотрел на возвышенности, к которым подходили ромеи. Старик Уран качал головой:

– Безумие! Безумие!

Взволнованный бурей размышлений базилевс не слышал его. Царская власть подобна секире, лежащей у древа. Пусть будет так, как захочет благочестивый, хранитель вселенских соборов, защитник бедных и убогих.

На засеках уже разгоралось сражение. Варвары обрушили на головы ромеев тучи стрел, сбрасывали камни, заранее приготовленные. Огромные каменные глыбы, неуклюже вращаясь, неслись с горы и сокрушали кости наших воинов. Гул воплей и стонов стоял в воздухе. Базилевс тронул коня и поспешил к месту битвы. Мы последовали за ним.

Глазам нашим представилось ужасное зрелище. Люди с перебитыми ногами ползли с горы, умоляя о помощи. Тела убитых кучами лежали на подступах к засекам. Стрелы летели по ветру с невыносимым свистом. Христолюбивые фемы уже готово было охватить смятение. Уран шептал:

– Безумие! Безумие!

Варвары с бешенством отчаянья защищали свою свободу, свои жилища и житницы. Высоко над валом мы увидели Самуила. Ветер развеивал его бороду. Он что-то кричал своим воинам и показывал на нас рукой.

– Не в силах человеческих взять эти твердыни, – шамкал Уран.

Базилевс взглянул на старика орлиным взором. У нас замерли сердца. Но благочестивый ничего не сказал.

– Не губи ромеев, благочестивый, – осмелился высказать свое мнение вест, – что будет с нами, если варвары спустятся с горы? Нам не выдержать их напора. Ты же знаешь, воин, который спускается с горы, равен трем воинам.

Василий в гневе теребил бороду.

Несколько раз мы пытались подняться на гору, и каждый раз болгары сбрасывали нас вниз. Потери были очень велики. Воины начинали роптать, ложились на землю, бросали оружие.

На следующий день сражение возобновилось. Мы смотрели на благочестивого с ужасом. Тогда приблизился к нему Никифор Ксифий, domestik схолариев.

– Позволь мне, рабу твоему...

– Говори, – грубо кинул Василий.

– Дай мне отборных воинов, руссов и схолариев, и мы попытаемся пробраться лесными тропами в тыл врагов. За ночь успеем обойти горы. Тогда мы поразим варваров...

Под покровом ночной темноты, прикрытый ею, как хламидой святого Димитрия, Никифор Ксифий повел воинов в обход горы Белатисты. Пробираясь сквозь тернии и кустарники, переходя во мраке страшные кручи, теряя людей в бездонных пропастях, он, подобно новому Ганнибалу, всю ночь вел воинов. Не для того ли нам дан разум, чтобы побеждать врагов? На рассвете, когда занялась благоуханная заря, Василий опять возобновил сражение, отвлекая внимание Самуила.

Но вот мы заметили, что в рядах врагов происходит странное замешательство. Мы услышали крики:

– Бегите, бегите! Ромеи погубили нас...



Тогда мы поняли, что это domestik Никифор Ксифий, подобно римскому орлу, ударил крылом, вонзил жестокие когти в тело жертвы. Болгарские воины оставляли засеки, бежали, заматались в горных ущельях, не зная, с какой стороны приближается к ним хитрый ромей. Базилевс, сияющий, как в пасхальный день, кричал эскувиторам, которых вел в сражение патриций Феофилакт Вотаниат:

– Поражайте врагов, эскувиторы! Поражайте!

И, не выдержав, помчался впереди воинов в самую гущу битвы.

Ужасное избиение продолжалось весь день. Сам Самуил едва не попал в руки ромеев. Но мужественный его сын бросился на помощь к отцу, вырвал его из наших рук. Понимая, что участь сражения решена, Самуил умчался с сыном и остатками своих отрядов в темноту ночи. Они обрели себе прибежище за деревянными стенами Прилепа. Опустошая все вокруг, Василий не решился преследовать бегущих. Опасно трогать раненого зверя...

Но это еще был не конец. На другой день базилевс запятнал прекрасную победу неслыханной жесткостью. По его приказанию пересчитали пленников. В плену оказалось около пятнадцати тысяч человек. Тогда их загнали толпами в ущелье, чтобы легче было стеречь. На соседней равнине были разведены костры, на огне которых воины обжигали заостренные колья и раскаляли железо. Схоларии извлекали из ущелья безоружных пленников и влачили к кострам. Для них готовилось нечто страшное, но несчастные не знали, какие муки ожидают их, и покорно шли. И вот нечеловеческий вопль огласил равнину. Это ослепили первого пленника.

Ослепленный бился на земле, умоляя о смерти, царапал камни ногтями, поднимал руки к небесам, проклинал и плакал, а к костру уже тащили другого пленника третьего, сотни людей. Даже закаленные в сражениях воины боялись за свой разум при этом ужасном зрелище. Извивающиеся в муках тела, кровавые глазницы, вопли и проклятия, а над всем этим каменное лицо Василия. Я отвел от него глаза и не смотрел. Пусть он сам даст отчет на последнем судилище за свои дела...

Догадавшись о страшной казни, заволновались остальные пленники; в ответ на вопли ослепляемых раздался вой тысяч людей, запертых, как звери в клетке, в узком ущелье. Варвары бросились на стражей, предпочитая умереть от меча, чем потерять драгоценный дар небес. Некоторых из них убили, остальных повлекли к кострам. По повелению Василия из каждой ста ослепленных одному выжигали только один глаз. Сначала мы не понимали, потом узнали – Василий хотел, чтобы кривые повели к Самуилу тысячи слепцов и поразили его сердце ужасом перед несокрушимой жесткостью ромейского оружия.

Страшными вереницами, цепляясь друг за друга, ведомые окривевшими жожаками, слепцы пустились в путь по горам. Они падали, спотыкались, вопили и плакали кровавыми слезами, проклиная небеса. Многие погибли от голода, были разорваны на пути волками, умерли от отчаянья. Остальные дотащились до родных селений. Жители выходили на дороги и приносили слепцам пищу, воду, козье молоко, утешали несчастных вестников гибели. А когда ослепленные пришли наконец в Прилеп и наполнили двор перед домом Самуила, старый лев зарыдал, как дитя. Тысячи слепцов зывали к нему на дворе:

– Самуил! Самуил! Посмотри, что сделал с нами Василий!

Тысячи юных глаз, с такой жадностью взиравших на мир, погасли, превратились в гнойные раны.

Болгарскому царю дали чашу с холодной водой. Он сделал несколько глотков и уронил чашу. Дни его были сочтены. На ложе смерти он ждал появления немилосердных врагов. Но Василий боялся войти в его берлогу.

В бедных болгарских хижинах, погруженные в мрак вечной ночи, слепцы плакали, вспоминая солнце, тропинки македонских ущелий, где они пасли коз, гору Белатисту, где они сражались за свободу...

А разве мы не слепцы? Черная тьма стоит над миром, как ночь слепорожденного. Трудно жить человеческой душе среди такого мрака. Нет надежды, что станет иным сердце человека. Шелестят стихи Иоанна Дамаскина, из церкви Сорока Мучеников доносится антифонное пение, а земля покрыта руинами, рухнувшие купола лежат во прахе, плевели покрывают поля, волки бродят в предместьях городов. Стоит мне прикрыть глаза рукою, и я вижу перед собой каменное лицо Василия, его сгорбленную от трудов, как у пахаря, спину, плечи, уставшие от тяжести панциря, стариковские жилистые руки, седую жесткую бороду, которая когда-то цвела, как руно ягненка.

В ушах еще звенят вопли ослепляемых. Я сражался на павкалийской равнине с безбожным Склиром, я поражал огнем Каллиника скифские ладьи, видел младенцев, пронзенных варварскими копьями, взирал на разрушенные церкви и на множество других ужасных явлений, но ничто не может сравниться со зрелищем, когда отнимают у человека зрение... Скажут – слепец ближе к Богу, слепота облегчает предаваться благочестивым размышлениям. Почему же даже у испытанных воинов щелкали зубы от страха, когда они присутствовали при сцене ослепления?

Но Василий взял на свои плечи эту ужасную тяжесть, и я не покину его до конца. Не ради суетных и мелких забот он совершил этот грех, а ради спасения ромеев. Его душа витает там, куда не взлететь маленьким слабым душонкам. Он – секира, лежащая у корня дерева.

После победы, не ожидая сопротивления врагов на долгие годы, Василий направился со всеми воинами в Афины, чтобы там, в Парфеноне, в триумфе и славе, возблагодарить Деву Марию, охраняющую своим покровом ромейское государство. На пути мы остановились в каком-то селении. У колодца, где слуги поили моих коней, стояла кучка поселян. Приняв меня в сером походном плаще за обыкновенного воина, они не стеснялись, разговаривали о своих делах. Один говорил моему слуге:

– Как жить бедным и убогим? Суди сам, милостивец! Подати житные да еще подымная, по три фолла с дыма. Потом пастбищная – энномион. Да десятина меда, приплода свиней, овец. Да еще подушная...

– За право дышать воздухом, – прибавил другой поселянин.

– Вот именно, что за воздух! Что наша душа? Воздух! А если землетрясение, опять плати. На возведение стен. Да еще погонное сборщику, за ногоутомление...

Второй поселянин долго и с видимым удовольствием, кривя рот, чесал спину. Первый прибавил со вздохом:

– А что на земле творится! Пятнадцать тысяч ослепили...

В окрестностях было враждебное нам население – тайные богомилы, еретики. Они своими гнусными устами отравляли победы благочестивого. Они смотрели на нас суровыми глазами, осуждая за кровопролитие.

Я сел на коня и отъехал прочь. Проезжая мимо словоохотливого поселянина, я взглянул на него. Обыкновенное деревенское лицо, обветренное непогодой, огрубевшее от дождей и снега. Копна нечесаных волос над низким лбом, длинный нос, бороденка, тощая шея. Вероятно, эта покосившаяся хижина принадлежала ему, и, может быть, дети, смотревшие с любопытством на моего прекрасного коня, были его дети, полуголые, с запачканными рожицами. Полуголодная жизнь таких – есть прозябание. Сколько людей влачит подобного рода существование, ест впроголодь, спит на соломе, в холоде и в темноте, завися от малейшего своеволия соседнего богатого человека! И все-таки они не желают расстаться даже с такой жизнью. А где мужественный Никифор Ксифий? Где благородный Константин Диоген? Где Евстафий Ангел и другие герои? Их уже нет с нами.

Поселянин посмотрел мне вслед, почесался, вздохнул. Мне хотелось сказать:

– Вдыхаешь, приятель? Вдыхай, вдыхай! Мы тоже вдыхаем. Тебе лень сделать маленькое усилие, чтобы возвыситься над ничтожеством. Мы должны жезлом гнать тебя на

поля сражений. Чего вы боитесь? Смерти? Но ведь умер же с мечом в руке Никифор, ставший мне братом. Упал рядом с ним Евстафий Ангел, человек с такой нежной душой. Умер другой Ангел, в Самбате, окрыленный строительными мечтами. Под сенью русских дубов лежит в мраморной гробнице Анна, дочь базилевса, сия вторая Галла Плацидия, супруга варвара, в конце концов пленница... Их души вознеслись к небесам, ликуя и внимая пению ангелов. А ты говоришь, что твоя душа – пар?

Впереди раздались крики воинов. Они увидели благочестивого и приветствовали его рукоплесканиями и грубыми голосами.

– Многие лета, автократор ромейский...

Толпы народа смотрели на триумфальное шествие, на блистающее оружие воинов, на коней базилевса под пурпурными покрывалами. Шепот ужаса пробежал по толпам:

– Болгароубойца! Болгароубойца! Ослепитель! Герой!..

Крики ромеев росли, превращались в бурю. Я ударил коня плеткой и поскакал к Василию, чтобы разделить с ним его славу, страшные грехи, которые он взвалил на себя, его одиночество...

## **Анна Ярославна – королева Франции**

### **Часть первая**

#### **1**

Несмотря на непредвиденные задержки в пути и огромные расстояния от Парижа до русских пределов, послы короля Франции благополучно прибыли в Киев. Посольство возглавлял епископ шалонский Роже. Он ехал впереди на муле, худой, горбоносый, со старческой синевой на бритых впалых щеках. Аскетическую худобу его лица еще больше подчеркивали глубокие морщины по обеим сторонам плотно сжатого рта, как бы самой природой предназначенного изъясняться по-латыни, а не на языке простых смертных.

Пока посольство медленно приближается к Золотым воротам, следует воспользоваться удобным случаем, чтобы поближе познакомиться с этим человеком, жизнь которого весьма показательна для той темной эпохи, куда мы, со всей осторожностью благоразумного путника, вступаем ныне, как в некий черный лес, полный волков и страшных видений.

Даже на лопоухом муле епископ сидел с таким достоинством, что одной посадкой доказывал свое благородное происхождение. Отцом его был Герман, граф Намюрский. Чтобы не дробить владения между наследниками, граф посвятил младшего сына церкви в надежде, что благодаря знатности рода молодой монах рано или поздно получит епископскую митру. Вот почему Роже не пришлось прославить себя на полях сражений. Однако и на винограднике божьем он проявил блестящие способности управителя, сначала в сане аббата в монастыре Сен-Пьер, а позднее сделавшись пастырем Шалона. Отличаясь умом практического склада, сей светильник церкви в бытность свою аббатом одного из самых бедных французских монастырей добился для него многих королевских щедрот. Ему удалось выпросить у короля в кормление монахам соседний городок с его ежегодной ярмаркой, на которую купцы приезжали не только из Шампани и Бургундии, но даже из отдаленных немецких земель. Кроме того, аббатству были предоставлены важные привилегии, в том числе исключительное право топить общественную печь для выпекания хлеба и позволения ловить сетями рыбу в Марне. По ходатайству Роже монастырь получил несколько селений с сервами и пашнями, а также мельницу, пчельник и обширные виноградники. Аббату даже удалось завести монастырскую меняльную лавку, где производились различные денежные операции и при случае ссужались под верные заклады деньги в рост, ибо все это служило к вящей пользе святой церкви. В те же годы Роже построил в аббатстве новую базилику, возложив на ее алтарь серебряный ковчежец с останками святого Люмьера. К сожалению, от этого почитаемого мученика остался нетленным один только левый глаз, но и такая реликвия привлекала в монастырь значительное число паломников, что весьма увеличивало его годовой доход.

Незадолго до утомительного и не лишено опасностей путешествия в Киев епископ Роже совершил благочестивое паломничество в Рим, и Вечный город произвел на него тягостное впечатление своими обветшалыми церквями и заросшими плющом руинами, по которым бродили пастухи в широкополых соломенных шляпах и прыгали дьявологлазые козы. В Латеранском дворце жил папа. О его непотребстве много рассказывали смешливые простолюдины в римских тавернах. Впрочем, Роже утешал себя тем, что в каждом человеке живут две натуры, божественная и животная, и что рано или поздно первая превозможет вторую.

По возвращении из Рима Роже возглавил шалонскую епархию, где тотчас же занялся искоренением манихейской ереси, получившей в то время большое распространение во Фран-

ции, и суровыми мерами пытался с корнем вырвать это губительное зло. Но по-прежнему лучше всего удавались епископу всякого рода земные предприятия, и, ценя его дипломатические способности, король Генрих неоднократно посылал Роже с ответственными поручениями в Нормандию и даже к германскому императору. Когда же король, после смерти королевы, стал вновь помышлять о женитьбе, он не мог найти лучшего посредника в таком деле, чем шалонский епископ.

Однако Роже не отличался глубокими познаниями в богословии, а во время переговоров в Киеве предстояло затронуть и некоторые церковные вопросы, в частности о приобретении мощей святого Климента, поэтому вторым послом в Россию отправился Готье Савейер, епископ города Мо, человек совершенно другого склада, малопригодный для хозяйственных дел, но весьма ученый муж, прозванный за свою начитанность Всезнайкой. Если не говорить о склонности прелата к чревоугодию, к чаше золотистого вина и к некоторым другим греховным удовольствиям, вроде чтения латинских поэтов или, может быть, даже допросов под пыткой полунагих ведьм, обвиняемых в сношении с дьяволом, когда в человеческой душе вдруг разверзаются черные бездны, то это был вполне достойный клирик, изучивший в молодости не только теологию, но и семь свободных искусств.

Насколько епископ Роже представлялся худощавым, настолько Готье Савейер отличался, напротив, дородностью. Его широкое, сиявшее вечной улыбкой лицо заканчивалось двойным подбородком, а плотоядные губы и довольно неуклюжий нос свидетельствовали о любви к жизни. Маленькие, заплывшие жиром глаза епископа светились умом.

Сопровождавший посольство сеньор Гослен де Шони, получивший повеление защищать епископов от разбойных нападений на глухих франкских дорогах, был рыцарем до мозга костей. Не очень высокий, но широкий в плечах, уже несколько отяжелевший и, как подлинный представитель знатного рода, белокурый и светлоглазый, де Шони, несмотря на сорокалетний возраст, со страстью предавался охоте и не ленился в воинских упражнениях, поэтому сохранил подвижность и ловкость. Его красноватое, обветренное лицо украшали длинные усы, а во взгляде у рыцаря явственно выражались ненасытная жадность и чувство превосходства над людьми, не обладающими рыцарским званием. Гослен де Шони надменно смотрел перед собой, не утруждая себя никакими размышлениями; по его мнению, всякая умственная работа более приличествовала духовным особам, чем рыцарю, понимающему толк в конях и охотничьих псах. Однако Гослен де Шони отличался многими достоинствами: отлично владел мечом, метко стрелял из арбалета и считался самым неутомимым охотником в королевских владениях. В молодости он состоял оруженосцем при графе Вермандуа, получил от него за заслуги небольшое поместье с двумя десятками сервов, был произведен в рыцари и принес сюзерену положенную клятву. Несколько позже граф разрешил ему перейти на службу к королю. Одновременно Гослен де Шони удачно женился на соседке и получил за ней, единственной дочерью старого сеньора, вскоре отдавшего богу душу, еще одно селение и различные угодья. Жена родила ему трех таких же голубоглазых, как и он, сыновей, и у рыцаря были связаны с потомством самые радужные надежды относительно округления своих владений. Получив королевский приказ сопровождать епископов в далекую Россию, славившуюся, если верить менестрелям, золотом, мехами и красивыми девушками, Гослен де Шони из этого путешествия также надеялся извлечь немалые выгоды, и в частности привезти для супруги несколько соболей, какие ему приходилось видеть на ярмарке в Сен-Дени. Как известно, меха весьма украшают женщин, хотя справедливость требует отметить, что рыцарь мечтал о приобретении мехов не столько из нежности к своей Элеоноре, сколько из тех соображений, что ее наряды будут свидетельствовать перед людьми о богатстве фамилии. Жене, преждевременно располневшей, с багровым румянцем на щеках, с неискусно наложенными белилами и с большими, почти мужскими руками, он предпочитал юных поселянок, застигнутых случайно где-нибудь на укромной лесной тропинке во время охоты на оленей. В свою очередь и супруга, огрубевшая в

ежедневных заботах о птичнике и скотном дворе, давно забыла о нежных чувствах к своему господину и порой, разгоряченная на пиру чашей вина, вздыхала неизвестно почему, бросая затуманенные взоры на литые торсы молодых оруженосцев, прислуживавших ей за столом. От них пахло мужским потом и кожей колетов!

Будучи страстным охотником, Гослен де Шони рассчитывал принять участие в прославленных на весь мир русских ловах и в пути настойчиво расспрашивал переводчика Людовикуса, на каких зверей охотятся в России.

Переводчик объяснял:

– О, эта страна покрыта дремучими лесами.

– Какие же звери водятся там?

– Олени, лоси, вепри. В степях носятся табунами дикие кони. Но князья предпочитают охотиться на лисиц, енотов и бобров.

– На бобров? – смаковал название редкой дичи Шони.

– Их очень много живет там на реках.

– Еще на каких зверей охотятся русские рыцари?

– На выдр и соболей. Меха находят большой спрос в Константинополе. Поэтому Ярослав собирает дань с покоренных племен шкурами зверей.

– На кого охотятся его сыновья, чтобы показать рыцарские достоинства?

– На медведей. Однако самой благородной забавой в России считается охота на диких быков, которых называют турами. Она требует от охотника большой отваги, и князья предлагают ей при всяком удобном случае.

– Хотелось бы принять участие в подобной охоте, – произнес Шони не без зависти.

– О, я уверен, что русские воины убедятся в твоей прославленной храбрости!

Людовикус хорошо изучил слабости человеческой натуры и затронул слабую струнку Шони. В ответ на слова переводчика рыцарь горделиво разгладил усы. Он был в темно-красном плаще, застегнутом на груди серебряной пряжкой, которую снял в одной счастливой стычке с убитого нормандского рыцаря под замком Тийер.

После разговора с переводчиком синьор искренне пожалел, что его охотничьи псы остались в родовом шонийском замке, построенном из грубых полевых камней и бревен. Собаки теперь находились под присмотром жены, в нижнем помещении башни, служившем одновременно поварней и жилищем для слуг. Здесь псы вечно грызлись из-за брошенных им костей.

Однако необходимо сказать несколько слов и об этом таинственном человеке, каким представлялся окружающим Людовикус. По обстоятельствам своей жизни то торговец, то переводчик, то посредник, он с юных лет странствовал и переезжал с одного места на другое и поэтому хорошо знал все большие города, расположенные на торговых дорогах, в том числе Регенсбург, Киев и Херсонес. Людовикус успел также побывать в Константинополе, сарацинской Антиохии и даже в Новгороде, изучив во время этих скитаний несколько языков. Но никто не знал, откуда он однажды появился в парижской харчевне «Под золотой чашей», да и сам этот бродяга уже позабыл, из какого города он родом, считая, что родина там, где лучше живется. Этот человек отличался житейской ловкостью, хотя ему и не везло в торговых предприятиях. В Париже Людовикус случайно повстречался с послами, собиравшимися в далекую Россию, и епископ Роже нанял его переводчиком, как знающего русский язык. С той поры он не переставал оказывать ценные услуги посольству во время трудного путешествия.

Может быть, следует упомянуть и двух ирландских монахов, Брунона и Люпуса, отличавшихся гортанным выговором и рыжими волосами. Последний, кроме того, был известен неудержимой болтливостью. Они плелись в задних рядах на мулах и тоже вдоль и поперек исколесили Европу, проповедуя слово божье и приторговывая христианскими реликвиями, пользуясь тем, что аббаты охотно закрывали глаза на обман, приобретая по дешевке какой-нибудь сомнительный голгофский гвоздь. Монахи выполняли также всевозможные поручения,

добывали хлеб насущный перепиской книг или даже собирая подавание. Впрочем, подобные люди возили из одной страны в другую не только кости мучеников, которых никто не мучил, но и украшенные драгоценными миниатюрами Псалтири, или еретические трактаты, попутно передавая сообщения о рождении младенцев с двумя головами, что, как известно, предвещает войну, или известие о смерти императора. В Германии у ирландцев находились многочисленные подворья, но таким бродягам, как Брунон и Люпус, было скучно сидеть на одном месте, и они с удовольствием пристали к французскому посольству, чтобы побывать в знаменитом городе.

Послов сопровождали мало чем примечательные рыцари, оруженосцы, конюхи. Воины ехали в длинных кожаных панцирях с медными бляхами и в таких же штанах ниже колен, в кованых шлемах с прямыми наносниками, прикрывающими от удара нос, эту самую благородную часть рыцарского лица. Копья у франкских воинов были тяжелые, а щиты таких размеров, что хорошо защищали все тело.

Епископских мулов вели под уздцы – скорее для большей торжественности, чем по необходимости, так как это были животные весьма мирного нрава – два конюха, веселые румяные парни в коротких плащах, в серых туфиях<sup>23</sup>, перевитых ремнями обуви, и в коричневых колетах. У одного из них на поясе висел деревянный гребень, чтобы время от времени расчесывать космы и в благопристойном виде прислуживать господам, у другого – окованный медью рог и нож с костяной рукояткой.

Послы покинули Париж ранней весной. Это произошло на рассвете, когда над Секваной, как латинисты называли Сену, еще стлался туман и в воздухе стояла ночная сырость. Едва епископы выбрались из городской тесноты и под подковами прогремел настил крепостного моста, как парижское зловоние сменилось свежестью весеннего утра, в тишине которого уже пробуждались и щебетали птицы...

Оставив пределы Франции, послы пустились в путь по той проторенной торговой дороге, по которой издавна восточные купцы привозили из Херсонеса и Киева в Регенсбург и Майнц, а оттуда на прославленные ярмарки в Сен-Дени и Париж всевозможные товары, в том числе перец, пряности, греческие миткали и русские меха, а на восток везли знаменитые франкские мечи, вино, серебряные изделия, фландрские сукна. По этой дороге порой гнали табуны длинноногих венгерских коней.

Добравшись до Регенсбурга, послы вынуждены были остановиться в этом богатом городе на продолжительное время и воспользоваться гостеприимством приора монастыря святого Эммерама, так как епископ Роже неожиданно заболел опасной семидневной лихорадкой. Когда он выздоровел, посольство со всей поспешностью снова двинулось в путь, заменив на Дунае выючных животных ладьями. Проплыв мимо Линца, Эмса и Пассавского леса, путешественники очутились в Эстергоме, чтобы отсюда уже направиться через Прагу и Краков в русские пределы. Это не был кратчайший путь в Киев, но зато самый удобный и безопасный для торговцев и паломников, и епископ Роже решил, что благоразумнее воспользоваться именно этой дорогой, тем более что Людовикус знал здесь каждую корчму.

Замедляли передвижение посольства также повозки с дарами, посланными Генрихом королю России, и со всякими припасами, так как передвижение на свежем воздухе вызывает у людей особенную потребность в пище. Роже, которому были доверены деньги на путевые расходы, без большого удовольствия развязывал кожаный кошель, чтобы платить за мясо, хлеба, сыры и пиво для своих спутников, за ячмень и сено для животных. Он предпочитал пользоваться бесплатным угощением в каком-нибудь богатом придорожном монастыре или в замке, где житницы ломились от запасов.

<sup>23</sup> Узкие штаны в обтяжку.

Как было сказано, епископы совершали путешествие на мулах, что более приличествует лицам духовного звания, а сопровождавшие послов рыцари и оруженосцы – на жеребцах, считая недостойным для себя садиться на кобылиц. Конюхи, погонщики, повара и прочие слуги ехали на кобылах, тряслись на повозках или бежали рядом с конем господина, держась за его стремена. Они с любопытством смотрели по сторонам и убеждались, что повсюду в мире установлен один и тот же порядок: бедняки жили в лачугах и питались ячменным хлебом да вареной репой, а сеньоры обитали в замках, выезжали с соколами на охоту или вдруг мчались куда-то среди ночи, освещенные тревожным заревом пожаров, и в переполохе женских воплей и детского плача не без удовлетворения смотрели, как их воины поджигают факелами хижины поселян и топчут посевы, чтобы причинить врагу, обычно соседнему барону или епископу, возможно больший ущерб. Везде, где бы ни проезжало посольство, крестьяне чаще возделывали землю мотыгами, чем плугом, запряженным волами.

В пути произошел такой случай. Среди челяди, сопровождавшей повозки с кладью, были двое конюхов из Шалона, по имени Жако и Бартолеми. Однажды, возвращаясь с реки, куда их послали за водой, сервы стали предерзостно рассуждать о самом господом установленной на земле иерархии. Не подозревая, что за кустом сидели на лужайке и завтракали господа, отдыхавшие после тяжелого подъема в гору, хотя с телегами возились, конечно, не епископы, а погонщики. Жако говорил приятелю:

– Бартолеми, куда бы мы ни пришли, всюду богатые живут в свое удовольствие, а бедняки страдают.

Другой конюх, не мучивший себя подобными вопросами, лениво ответил:

– Значит, так уж устроено, чтобы нам страдать до самой смерти.

Епископ Готье Савейер, отправляя в рот куски жирной колбасы, только вздохнул с пригорбием при этих словах, удивляясь грубости простолюдинов, а с другой стороны, признавая в глубине души, что не все на земле подчиняется принципу справедливости. Но рыцарь Гослен де Шони тотчас вскочил на ноги, готовый покарать сервов, осмелившихся произносить подобные речи. Однако, поняв свою оплошность, конюхи убежали, бросив ведра и с шумом раздвигая кусты. Поиски крамольников ни к чему не привели. В дальнейшем, догадываясь, какая их ждет участь, они уже не вернулись к исполнению своих обязанностей, и никто больше ничего не слышал, что с ними случилось. Когда же справедливое возмущение от этих нечестивых высказываний несколько утихло и завтрак возобновился, епископ Роже с горечью произнес:

– Откуда им знать, что не все люди имеют одинаковое назначение. Рыцарь сражается за догматы церкви и охраняет труд поселянина, епископ молится пред престолом всевышнего, а крестьянин трудится на ниве, чтобы пропитать их. Иначе в мире не было бы гармонии и никто не мог бы выполнять своих священных обязанностей.

– Твоими устами, святой отец, говорит сама истина, – с жаром заявил Шони, обсасывая жир на пальцах, – однако жаль все-таки, что не успели схватить этих негодяев, чтобы расправиться с ними, как они этого заслуживают. Впрочем, рано или поздно я спущу с них три шкуры!

Вспомнив, что писал достопочтенный Пьер, приор прославленного аббатства в Ключи, о судьбе бедняков, епископ Готье Савейер опять сокрушенно пожевал губами. Ведь у просвещенных людей сердце не закрыто на ключ для человеческих страданий. Епископ даже хотел привести несколько строк из этого нашумевшего в свое время сочинения, но раздумал и ограничился смущенным покашливанием, так как давала себя знать приятная тяжесть в желудке.

Роже был другого мнения.

– Эти ленивцы только и думают о том, как бы избавиться от работы, и бегут куда глаза глядят, – ворчал пастырь. – Они воображают, что новые господа будут лучше старых.

– Твоими устами, святой отец, говорит сама истина, – повторил рыцарь, пережевывая колбасу.



Возмущение епископа Роже можно было понять по-человечески: бежавшие погонщики принадлежали к его сервам, и поэтому он огорчился вдвойне. Что касается Готье, то этот образованный человек уже думал о других вещах. После сытной еды толстяк любил припоминать латинские вирши и засыпал под их сладостные словосочетания...

Как бы то ни было, посольство приближалось к своей цели. По обеим сторонам дороги проплывали рощи, засеянные пшеницей поля, зеленые лужайки, холмы; порой показывалась на реке водяная мельница с большим неуклюжим колесом и склоненными к воде дуплистыми ивами; в ярмарочный день шумел на пути торговый город; или вдруг возникал за дубравой обнесенный частоколом замок местного барона, более похожий на логово разбойника, чем на жилище защитника вдов и сирот. У подножия мрачного сооружения ютились хижины крепостных. Время от времени у дороги попадались аббатства, где, как муравьи, хлопотали многочисленные монахи. Порой путники встречали караван восточных купцов, спешивших добраться до захода солнца в соседний городок, за стенами которого их товары находились в относительной безопасности, хотя за убежище приходилось платить пошлину у городских ворот, как, впрочем, и на всех мостах, у переправ и просто на дорогах, и еще благодарить судьбу, что удалось избежать разбоя и грабежа.

И вот в одно прекрасное утро, даже не заметив, что пересекает какую-то государственную границу, посольство очутилось в русских пределах. Никаких пограничных знаков там не оказалось, если не считать выбитого на камне креста. Проехав еще две мили, франки увидели непривычные бревенчатые избышки, в беспорядке разбросанные подле дубовой рощи. Одна из них, более значительная по размерам и с деревянной дымницей, служила жилищем мытнику. У стены его дома виднелось беззаботно прислоненное копьё.

Ведал заставой упитанный человек с окладистой белокурой бородой. Судя по тому, как проворно бегали у мытника глаза, можно было предположить, что от него ничего нельзя скрыть ни в одном мешке. Переговорив с этим представителем власти, Людовикус объяснил епископам, что им предлагают отдохнуть, прежде чем пуститься в дальнейший путь. Подобное приглашение вполне совпадало с планами Роже, желавшего привести в надлежащий вид людей и животных, поэтому возражения с его стороны не последовало.

Здесьние жители, как на подбор рослые, с длинными усами или такими же светлыми бородами, как у мытника, смотрели на чужестранцев необыкновенного вида с любопытством, но миролюбиво, хотя многие франки имели при себе мечи. В свою очередь толстый Готье с интересом наблюдал окружающий мир. Епископ вспомнил, как перед отъездом посольства из Парижа король Генрих, по обыкновению хмурый и вечно чем-то недовольный, спросил, что представляет собою страна, куда едут за его невестой. Откашлявшись в кулак и приняв надлежащий вид, он объяснял королю:

– Руссия, или Рабасция, – огромное царство. У Птоломея упоминается народ, называвший себя рабасциями. Возможно, что это предки русских. В их стране находится город Синтона, а к востоку возвышаются Рифейские горы. Но зимою в тех пределах выпадает так много снега, что для путника затруднительно попасть в северные области. Некоторые писатели предполагают, что дальше уже обитают люди с песьими головами, а также амазонки.

В ответ на объяснения король погладил бороду. Генрих не очень интересовался латинскими хрониками, однако до него дошли слухи о плодовитости русских принцесс. Когда умерла королева, по рождению своему дочь германского императора, французский король решил найти себе новую подругу. Между тем почти все соседние монархи уже состояли с домом Гуго Капета в кровном родстве, а церковь сурово карала за брак на родственниках до седьмого колена. Тогда Генриху пришла в голову счастливая мысль обратиться в поисках невесты к далекому русскому властителю, о котором во Франции стало известно, что он уже выдал одну дочь за норвежского короля, а другую – за венгерского. Кроме того, Генриха уверяли, что у

русского короля лари набиты золотыми монетами, и это обстоятельство еще более усилило влечение к далекой русской красавице.

В тот день, беседуя с королем, епископ Готье очень гордился своими географическими познаниями. Теперь он убедился, что в русской стране нет ни амазонок, ни людей с песьими головами, ни циклопов, сведения о которых он черпал в пыльных фолиантах знаменитой Реймской библиотеки. Все вокруг дышало миром. Над лужайками высоко в воздухе пели жаворонки, такие же, как во Франции, и с такими же волшебными горошинами в маленьких птичьих горлышках. Но русские оказались весьма любопытными людьми, и Людовикус едва успевал переводить их вопросы и ответы епископов. В свою очередь франки хотели знать, сколько дней пути осталось до Киева, где в настоящее время находится король Ярослав, и в добром ли здравии его прекрасная дочь. Готье интересовали другие вопросы: подчиняются ли здешние жители в церковном отношении Константинополю и читают ли греческие книги, хотя отлично понимал, что бесполезно спрашивать об этом простодушных мытников. Роже больше занимали житейские дела. В частности, ему захотелось узнать, какое содержание получает мытник, и тот деловито объяснил Людовикусу:

– Ежедневно две курицы, а на неделю – семь ведер солода и половину говяжьей туши или барана. Или же деньгами, сколько все стоит. Еще хлебы и пшено. А в среду и пятницу – по сыру...

Из этих слов епископ понял, что служители киевского владыки живут неплохо.

Мытник тоже полюбопытствовал насчет того, что путешественники везли на возах, и, когда ему показали дары, которые франкский король слал своему будущему тестю, белокурый великан похвалил великолепные мечи, со знанием дела пощупал сукна и взвесил в опытной руке серебряные чаши, с большим искусством сработанные парижским мастером. Епископы не знали, что в Киев уже ускакал гонец, чтобы сообщить о прибытии послов. Поплотнее надев на золотую голову шапку из греческого миткаля, отрок помчался на сером гривастом коньке по щебнистой дороге, то спускаясь в овраги, где еще журчали весенние ручьи, то поднимаясь на бугры, то пересекая зеленые луга, щедро осыпанные желтыми цветами. Дубравы встречали его прохладой, вечером в роще зашелкал соловей, а когда на небе высоко поднялся серп полумесяца, гонец уже подъезжал к спящему Киеву.

Когда регенсбургские купцы прибывали в Киев и, задрав носы и придерживая обеими руками суконные шляпы, обшитые лисьими хвостами, смотрели на великолепное сооружение Золотых ворот, они изумлялись, что человеческие руки способны поднять тяжелый камень на такую высоту. По сравнению с хижинами предместья воротная башня казалась огромной, и, чтобы еще более усилить впечатление величия и в то же время легкости, хитроумный строитель несколько сузил ее кверху, так что построенная на высоком забрале церковь уже как бы висела в воздухе, витала в облаках, медленно проплывавших по небу. Башня была из розового кирпича, церковь сияла на солнце белизной стен, на куполе блистал золотой архангел. Дубовые створки ворот, обитые листами позолоченной меди, приводили в восхищение диких печенегов, считавших, что это – чистое золото. Никогда еще не видели люди ничего подобного в полуночных странах, и казалось удивительным, что внизу все оставалось простым и обычным: лужайки, одуванчики, пыльная дорога, выбоины от колес, свидетельствовавшие об оживленной торговле.

Под гулким сводом ворот, вдруг нависавшим над головою, беспрестанно проходили путники и с грохотом проезжали колесницы. На одних повозках доставляли в Киев солому или бревна, на других – горшки, глиняные корчаги с медом и дубовые бочки с солодом. Горделиво поглаживая светлые усы, ехал на горячем коне варяжский наемник в красном плаще на желтой подкладке. Смиранный дровосек нес на спине вязанку хвороста, чтобы продать топливо на торжище и купить хлеба. Обожженный солнцем и с длинным посохом в руках, усталый палом-

ник возвращался из далекого странствия в свое отечество. Еще на одном возу немецкие купцы везли дорогие товары. Жизнь была ключом.

Среди этой суеты, недалеко от городских ворот, широко раздвинув ноги, оплетенные ремнями обуви, сидел на земле седобородый слепец и, перебирая когтистыми пальцами струны, пел дрожащим голосом о битве под Лиственном, прославляя подвиги Мстислава, как будто с тех пор не случилось ничего примечательного на Руси.

Старец берег гусли, как сокровище – единственное свое утешение на закате дней и средство для пропитания, – и в непогоду прятал их под овчиной, накинутой на плечи. Но почерневшая доска, на которой были натянуты струны, блестела от многолетнего пользования и в одном месте дала трещину. Слушатели вспоминали с печалью, что на этих гуслях играл некогда сам великий Боян, ныне уже покинувший землю.

Прислонившись к каменной стене, подле гусяра стоял румяный и голубоглазый отрок; на голове у него ветерок шевелил копну русых волос, а на босых ногах еще остался прах дальних дорог. На странниках были холщовые рубахи до колен, вшитые в рукава повыше локтей красные полосы выгорели от солнца. Юноша привел слепца в Киев из Чернигова, чтобы вести его отсюда в Смоленск или в далекую Тмутаракань – всюду, где русские люди слушают песни и награждают певцов пенязями, усаживают за стол, полный яств, и предоставляют ночлег на душистой соломе.

Певец не протягивал руку за подаванием, а брал деньги, как орел берет добычу когтями, однако прохожие редко бросали в деревянную чашку серебряные монеты и чаще клали кусок ячменной лепешки с добрым пожеланием. Голос у певца с годами стал немощным, у отрока же еще не чувствовалось сладостного умения в повторях, и богатые люди, постояв немного, проходили своей дорогой; им приходилось слышать на княжеских пирах более голосистых певцов, а бедняк мог только поделиться куском хлеба. С церковных папертей слепца прогоняли за призывы к древним богам, ему остались в удел лишь торжища и городские ворота.

Струны переливчато рокотали, и под их звон старик начал песню, которую сложил Боян, взирая с холма на ночное сражение в ту грозную ночь, когда созревали рябины и синие молнии непрестанно освещали жестокую сечу:

Стояла осень,  
Была ночь рябинная,  
Шумела битва под Лиственном,  
Гроза грохотала на небесах.  
Когда синие молнии озаряли  
Мечи, поднятые в сраженье,  
Неподвижными они казались  
На мгновение ока...

Эту песню не любили в киевских палатах. Листвен был связан для Ярослава с воспоминаниями о страшном поражении, когда князь, спасая брannую жизнь, бежал в Новгород, а ярл Якун потерял на поле битвы свой знаменитый золотой плащ. Боян воспевал храбрость Мстислава, но наступили новые времена, и ныне певцы, если у них в груди билось русское сердце и трепетало в горле соловьиное дыхание, прославляли не победителей в княжеских усобицах, а победы над печенегами. Ведь сегодня один князь сидел на златокованом киевском столе, завтра – другой, а Русская земля будет вечно стоять под солнцем. В борьбе за великое княжение одержали победу разум и терпение Ярослава; песню, сложенную о подвигах храброго черниговского князя, забыли, и только монастырский книжник взял из нее несколько строк, чтобы украсить риторическим цветком летописное повествование о братоубийственном сражении:

Стояла осень,  
Была ночь рябинная...

Обманув бдительный материнский надзор, Анна поспешила к Золотым воротам. Она накинула на голову зеленый шелковый плат, чтобы спрятать взволнованное лицо от нескромных взоров, но встречные узнавали ее, останавливались и говорили с улыбкой:

– Здравствуй! Будь счастливой, Ярославна!

Люди охотно разговаривали с Анной, и она всегда ласково отвечала им – старикам, женщинам, мужам; но сегодня княжна была в смущении и торопилась пройти незамеченной.

Киевляне никому не улыбались так при встрече – ни мудрому ее отцу, ни ее горделивой матери, ни ее красивому брату Изяславу, ни другим братьям – заносчивому Святославу и благочестивому постнику Всеволоду, а только трем сестрам – Елизавете, Анне и Анастасии. Но надменная Елизавета, прозванная за тонкий стан Шелковинкой, уже была в холодной Скандинавии, замужем за норвежским королем Гаральдом; Анастасия уехала жить в страну угров, на синем Дунае. А теперь приехали послы, чтобы увезти третью дочь Ярослава во Францию.

Княжну сопровождали подруги, участницы ее детских игр, – Елена, дочь Чудина, и Добросвета, племянница ослепленного греками воеводы Вышаты. Елена была светловолосая девушка с зелеными глазами и белыми ресницами, как это часто бывает у женщин, что живут у Варяжского моря; Добросвету отличали темные лукавые глаза и пушок на верхней губе. Девушки тоже волновались, им не терпелось подняться на забрало, чтобы смотреть оттуда на приезд франкских послов.

От торопливых движений плат Ярославны упал на плечи и открыл золотистые косы, за которые скандинавские скальды называли в своих стихах дочь русского конунга Рыжей. Но косы Анны не висели за спиной, как у поселянок, и не лежали на груди, как у знатных подруг, а, по заморскому обычаю, были уложены на голове в виде высокого венца. С такой прической приезжали на Русь греческие царевны.

По обеим сторонам улицы рубленые дома богатых людей, с красивыми вышками на кровлях и петушками на оконных наличниках, стояли вперемежку с построенными из дерева и глины лачугами бедняков. Толкались и шли по своим делам киевляне и чужестранцы. Здешние жители были в белых рубахах с красными полосами на рукавах, арабы и персы – в чалмах и пестрых одеждах, немецкие купцы – в широких лисьих шапках, кочевники – в заячьих колпаках.

Когда Анна и ее смешливые подруги прибежали к воротам, до них донеслись звуки гуслей. Слепец, отрешенный среди своей вечной ночи от суетного мира, пел:

Стояла осень,  
Была ночь рябинная...

Но, почувствовав вокруг себя какие-то перемены и людское волнение, он умолк.

В длинном проезде под воротами воздух был гулок, как в пустой бочке. В стене виднелась небольшая дубовая дверь, за которой лесенка вела наверх, в церковь Благовещенья. Черный монах, выполнявший обязанности привратника, отпер дверцу огромным ключом. Железо заскрежетало на крюках, и Анна, едва сдерживая волнение, взбежала по скрипучим деревянным ступенькам на забрало. Над головой прошумела стая спугнутых голубей. Взволнованно дыша и предвкушая необычное зрелище, вслед за Ярославной на башню поднялись подруги и несколько знатных женщин, сгоравших от нетерпения увидеть посланцев далекого короля. Случилось так, что и пресвитер Илларион тоже взошел с медлительностью зрелого возраста на забрало. У него имелись свои причины для любопытства. Гонец, прискакавший с пограничной мытницы, сообщил, что на этот раз едут не купцы, а латинские епископы. Иллариону было

хорошо известно, что латыняне совершают евхаристию на опресноках и причащаются облатками, а не из чаши, но его сердце наполнялось гордостью при мысли, что слава русского государства достигла самых отдаленных пределов земли, долетела до Рима и франкского королевства, доказательством чего служил приезд посольства.

Илларион был великий постник, и продолжительное сидение за перепиской книг, с чернильницей в одной руке и заостренным тростником в другой, повредило его здоровью и сделало дыхание затрудненным. Когда пресвитер поднялся наконец на вымощенную каменными плитами площадку, женщины уже сгрудились у забрала, наполняя воздух звоном золотых ожерелий. Но Анна смотрела не туда, где пылила дорога, а вниз. У въезда в воротную башню сидел на белом жеребце молодой ярл Филипп, в красной русской шапке с меховой опушкой и в голубом плаще, падавшем широкими складками на круп коня. Дорога к Золотым воротам, выходя из дубравы, постепенно поднималась мимо городского вала и капустников. Вскоре из-за дубов показался конный отряд. Впереди ехали три всадника, за ними – другие, а позади двигались повозки. Кони и колеса поднимали пыль, и ветер относил их в сторону; наверху он порывисто играл шелковыми женскими одеждами.

Анне хотелось крикнуть Филиппу: «Посмотри же на меня!»

Но ярл не отрываясь глядел в ту сторону, откуда приближались франки. Опечаленная Анна тоже перевела туда свой взгляд и увидела, что всадник, ехавший между двумя епископами, был ее брат Всеволод. Епископы сидели на странного вида ушастых животных, оба в черных монашеских одеждах и серых плащах с куколями, оба бритые, с венчиками седых волос вокруг розоватых губ.

Перед величественными воротами послы невольно остановили мулов, и Всеволод не без гордости пояснил:

– Золотые врата... Наподобие константинопольских...

Готье удивленно посмотрел на мощное сооружение, а рыцарь Шони не преминул заметить, что у въезда в город стоят, опираясь на копья, многочисленные русские воины в железных кольчугах и остроконечных шлемах, с красными щитами. Некоторые из них выглядели совсем юными, другие, наоборот, гордились седыми бородами. Их предводитель – судя по длинным белокурым волосам, падавшим на плечи, молодой знатный скандинав – гордо сидел на белом жеребце. Спокойное и на редкость красивое лицо его ничего не выражало. Это был наемник, который верно служит всякому, кто щедро платит. Но воины взирали на франков любопытствующими глазами. С не меньшим любопытством разглядывали чужестранцев светлоглазые женщины в красных и синих сарафанах, с пышными полотняными рукавами, расшитыми в долгие зимние вечера пестрыми узорами. Был праздничный день. На груди у киевлянок позвякивали от каждого движения тяжкие мониста из серебренников. Эти драхмы или денарии лежали на прилавке у менялы, ими платили за мех или мед, награждали за службу, ради них проливалась человеческая кровь, а теперь они украшали русских красавиц. Со всех сторон к воротам сбегались стаи белоголовых, босоногих ребятишек.

Поучительно и любопытно попасть в чужую страну и наблюдать там иные нравы. Некоторое время епископы обсуждали величие и прочность киевских ворот и одобрительно кивали головами. Не в каждом городе они видели подобное. Всеволод смотрел на них с понимающей улыбкой. Потом всадники стали один за другим въезжать в ворота.

Молодой большеглазый русский воин сказал другому, с широкой рыжей бородой:

– Смотри, Братило, доспехи у них не такие, как наши. Закрывают все ноги кожей и железом.

Старый воин рассудительно ответил:

– Нам такие не подходят. Нам надо быть легкими, как птица. А такой доспех – большая тяжесть для коня. Если конь устанет в поле, как ты догонишь печенег?

Но посольство уже направлялось по кривой улице, кое-где вымощенной бревнами. Весело застучали подковы. Впереди показались два монастыря, обнесенные каменной оградой.

Всеволод все с той же благодистой улыбкой, перенятой у греческих царедворцев, с которыми ему часто приходилось иметь дело, объяснял:

– Конвентум<sup>24</sup> святого Георгия... Конвентум святой Ирины...

Илларион называл Всеволода пятиязычным чудом, но без привычки молодому князю было трудно изъясняться по-латыни, и он старался составлять возможно короткие фразы. Епископы понимали его и одобрительно кивали головой.

По сравнению с Готье Савейером Всеволод казался хрупким, как девушка. Это был княжич с юношеской рыжеватой бородкой, орлиным носом и красивыми, широко расставленными, как у всех Ярославичей, глазами. Одевание его составляли – воинский плащ малинового цвета, под которым виднелись голубая рубашка с золотым оплечьем и штаны из красного scarlat<sup>25</sup>, засунутые в мягкие сапоги из зеленой багдадской кожи. На бедре у Всеволода висел и слегка покачивался от мерного шага коня прямой длинный меч в ножнах с серебряными украшениями. Этот яркий наряд и парчовая шапка с бобровой опушкой, надетая слегка на правое ухо, говорили о богатстве и желании покрасоваться, и, как бы чувствуя это, княжеский конь вдруг стал гарцевать, косясь на спокойных длинноухих мулов, на которых не без торжественности восседали епископы.

Народу на улице собиралось все больше и больше, но люди особого удивления при виде проезжавших чужестранцев не выражали. Здесь уже не раз смотрели на латинских священнослужителей в плащах с куколями, греческих посланцев в scarlatных скуфьях, а кроме того, немецких и арабских купцов, моравов, хазар, евреев и жителей Персиды. Впрочем, ушастые мулы вызвали некоторое веселие.

Наконец посольство очутилось на площади, с одной стороны которой стояла огромная розовая кирпичная церковь, а с другой – виднелось несколько каменных зданий. На некотором подобии триумфальной арки, вроде тех, что Роже видел в Риме, взлетала ввысь четверка бронзовых коней. На мраморных колоннах стояли статуи, запачканные голубиным пометом.

– Откуда попали сюда эти великолепные кони? – спросил епископ Готье Всеволода. – Вероятно, из Константинополя?

– Из Херсонеса... Военная добыча... – ответил княжич.

– А статуи?

– Из того же города. Одна из них изображает греческую богиню Афродиту. Так объяснили мне приезжие греки. Две другие – какую-то древнюю женщину. Она считалась покровительницей Херсонеса.

– Если мне не изменяет память, это Гикия, – вспомнил всезнающий Готье.

– Гикия? – переспросил Роже. – Такой мученицы я не знаю.

– Этим именем звали не мученицу, а языческую женщину, спасшую Херсонес от боспорцев.

– От боспорцев?

Обстоятельства мешали епископу Готье рассказать о прославленной античной героине, хотя Всеволод с большим вниманием слушал его латинскую речь. Молодой княжич был любителем подобных повествований. Однако впереди уже выплывала навстречу розовая громада Софии.

---

<sup>24</sup> Монастырь (лат.).

<sup>25</sup> Род византийской материи ярко-красного цвета.

## 2

Великий князь Ярослав спускался иногда из своих покоев, стуча жезлом по каменным ступеням лестницы. Это происходило в дни совета с дружиной или когда он совершал паломничество в Вышгород, чтобы поклониться гробницам мучеников Бориса и Глеба. Но в день приезда послов старик не пожелал покинуть свои палаты. Ему приходилось слышать от лукавых греков, что владыка, таящийся в молчаливом дворце и появляющийся перед народом только в особо торжественной обстановке, при звуках труб и органов или пении церковных псалмов, производит на людей более сильное впечатление, чем доступный для всякого правитель, что бродит по торжищам, как простой смертный. Кроме того, в связи с приездом послов необходимо было предварительно посоветоваться с пресвитером Илларионом.

Когда посланный мытником гонец прискакал к Лядским воротам, в городе только что пропели первые петухи. Известие, доставленное с рубежа, вызвало в доме воеводы ночной переполох. Дело не допускало промедления. Старый князь требовал, чтобы обо всех важных событиях ему докладывали немедленно, не считаясь ни с поздним временем, ни с расстоянием, ни с дурной погодой. А посольства приезжают не каждый день.

Седоусый воевода, ленивый дородный варяг, разжиревший на русских хлебах, мучительно чесал волосатую грудь, и в расстегнутом вороте белой рубахи при свете свечи, которую держал в руках отрок, поблескивал золотой крест с синей финифтью. Рядом с мужем, разметав на розовой подушке русые косы и широко раскинув нагие горячие руки, спала на пуховой постели боярыня, такая же дородная, но молодая и нежная, и стыдливо улыбалась какому-то приятному сонному видению. От стука в дверь, от ночного разговора она проснулась, подняла заспанные, ничего не понимающие глаза, посмотрела на свечу, на гонца, на супруга, вздохнула и снова уронила тяжелую голову на шелк подушки, прикрывая беличьим одеялом круглое теплое плечо, чтобы соблюсти женскую стыдливость и не вводить в напрасное искушение отрока, уже невпопад отвечавшего на вопросы.

Воевода морщился, почесывался, с неудовольствием думая, что ничего не остается, как покинуть супружеское ложе, чтобы поспешить в княжеский дворец, и стал натягивать на длинные ноги красные штаны.

– Коня! Поедем к конунгу Ярославу средь ночи! – сказал он в сердцах отроку. Воевода считал ниже своего достоинства даже на близкое расстояние ходить пешком, да в ночное время и городские псы могли повредить одежду или разбойник подстеречь в темном переулке с ножом в руке. Старый муж не видел, что жена наблюдала за ним с женским притворством сквозь лукаво опущенные ресницы.

Подковы глухо зацокали. Воевода громко зевнул и равнодушно посмотрел на прекрасные небеса. На небе сияли звезды. То дружно принимались лаять, то вдруг умолкали собаки. Уже начинало светать. Позади ехал молчаливый отрок.

В княжеском дворце воеводе прежде всего пришлось разбудить дворецкого. Этот константинопольский евнух, родом тоже варяг, но попавший в плен к грекам и оскотенный по жестокой прихоти василевса, долго крестился и шептал молитвы, прежде чем сообразил, что от него требуют. На Русь он приехал недавно с дочерью Мономаха, ставшей супругой княжича Всеволода, и по совету Иллариона великий князь взял скопца к себе на службу, из тех соображений, что он хорошо знает греческие дворцовые порядки.

Итак, некоторое время ушло на совещание с евнухом. Воевода хмуро объяснил ему в конце концов, что случилось. Уже давно по киевскому торжищу ходили всякие слухи, но послов в Киеве еще не ждали, и никто толком не знал о цели посольства, хотя немецкие купцы и русские путешественники, побывавшие в Регенсбурге с мехами, уверяли, что франки едут за Ярославной и мощами святого Климента.

Зная привычки старого князя, воевода спросил:

– Бодрствует?

– Читает даже в ночи, – отвечал шепотом скопец, прикрывая рот рукою, как будто бы сообщая некую важную государственную тайну.

– Как нам поступить?

– Передать эпистолию. Иначе будет гневен.

– Тогда поднимемся в опочивальню.

Ярослав страдал бессонницей и, чтобы скоротать ночные часы, читал книги, лежа в постели, и это вошло у него в привычку. Ведь столько хотелось узнать повестей, что на это не хватило бы времени днем, когда нужно советоваться о государственных делах, разбирать тяжбы, присутствовать на богослужениях, выезжать на звериные ловы. Так он полюбил книжное чтение паче жизни и часто говорил сыновьям:

– Книжные словеса суть реки, напояющие вселенную...

В тихой княжеской ложнице потрескивала в серебряном подсвечнике толстая восковая свеча, наполовину сторевшая, и ее трепетный свет казался человеку, еще помнившему о лучине в светце, вполне достаточным, чтобы разбирать письма. Ложе было узкое, почти монашеское, но под навесом из тяжелой парчи на четырех точеных позолоченных столбиках. У одной из стен, обитых желтой материей, стоял раскрытый ларь, наполненный книгами в переплетах из кожи, из алого или синего, как васильки, сукна. Каждая такая книга, иногда украшенная разноцветными камнями, осыпанная жемчужинами, с серебряными коваными застежками, представляла собою целое сокровище, но люди бережно брали ее в руки не столько ради высокой цены жемчужин и серебра, сколько из уважения к искусству писца. Труд переписчика считался таким же святым, как труд пахаря. Следующее можно сказать о книгописании: бывает доволен купец, получив прибыль, и кормчий, пристав с кораблем в затишье, и странник, вернувшись в милое отечество; так же радуется переписчик, доведя до конца свое предприятие.

При всей бережливости Ярослав тратил огромные деньги на покупку и переписку славянских и греческих книг, и не мудрено, что ларь оковали железом и устроили в нем хитроумный замок.

На скамье лежала одежда князя и поверх – боевой меч в потертых кожаных ножнах с серебряным наконечником. Так он мог спокойнее спать на случай народных возмущений или вероломства со стороны бояр.

В углу висела икона, написанная молодым киевским художником. Лик богоматери живописец изобразил не таким темным и суровым, как это делали обычно в далеком Царьграде, а как бы освещенным нежной зарей. Она склоняла голову к своему младенцу, прижимая его к груди... Всякий раз при виде этой иконы Ярослав вспоминал странные глаза художника, как бы ищущие в мире некую скрытую прелесть. Такое же беспокойство о красоте светилось в них и тогда, когда живописец писал в Софии лики княжеской семьи и с какой-то тайной тревогой смотрел, стоя на высоком помосте, с кистью в руке, то на Анну, пришедшую подивиться труду его, то на сияющее красками изображение дочери Ярослава.

Лежа на боку, чтобы удобнее было больной ноге, которая все больше и больше стала напоминать о себе при перемене погоды, Ярослав одной рукой подпирал голову, в другой держал раскрытую книгу. Он читал «Притчи Соломона».

Вглядываясь в красные буквы, четко написанные рукою писца Григория и украшенные цветами и прихотливыми злаками юным художником, кому, казалось, сами ангелы, подарили это необыкновенное искусство, Ярослав шептал, едва двигая губами:

– «Не премудрость ли взывает и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенном месте, при дорогах и на распутьях. Она взывает у городских ворот, при входе в город и у дверей дома...»



Ярославу слышались какие-то шорохи за дверью или на лестнице, ведущей в опочивальню. Князь перестал читать и прислушался. Нет, все было тихо среди ночи, и он знал, что у двери стоят на страже преданные отроки с мечами на бедрах, бодрствуют и, может быть, приглушенными голосами переговариваются между собою.

Эти странные слова, не похожие на обычную человеческую речь, напоминали звон гуслей. Но они открывали сердцу, что мир не застыл в оцепенении, а полон жизни и движения.

– «Не разум ли возвышает голос свой?..» – со вздохом повторил старый князь.

Ярослав оторвался от книги. Где родились люди, писавшие подобное? Но разве Иллирион не рождал в тишине кельи такие же сладостные слова, украшая свои мысли книжными цветами? Князь знал греческий язык, ему объяснили еще в юности, что такое метафора, и он умел оценить великолепие слога и мудрость писательского замысла.

– «Когда был дан устав морю, чтобы волны не преступили пределы его, и положено основание земли, и тогда я уже трудилась художницей на земле и был радостью каждый день...»

Все представлялось смутным в этих строках, однако сквозь туман древних слов, опьяняющих, как церковный фимиам, светилась мысль, что мир полон неизъяснимой красоты. Какими возвышенными казались эти строки по сравнению с ежедневными маленькими заботами, отвлекающими человека от помышлений о величии мироздания.

Но чтение утомило глаза, заглавные буквы из красных сделались голубыми. Ярослав отложил книгу, и тогда мысли князя, цепляясь одна за другую, возвратили его к действительности, к жизни, прошедшей в большой тревоге. Горница наполнилась видениями.

Уже достигнув преклонного возраста, отец, великий царь Владимир, захворал и лежал на одре болезни в своем любимом берестовском дворце. Ярослав сидел посадником в Новгороде, в том северном городе, который так удивлял греков бревенчатыми банями, где люди бичевали себя березовыми ветвями, хотя делали это не для мучения, а для омоновения. Любимцами старого князя считались самые младшие сыновья – Борис и Глеб. К Ярославу отец особой нежности не питал. Еще с тех дней, когда в лучших своих чувствах была оскорблена мать, гордая Рогнеда, он тоже затаил в сердце зло против родителя. Отец возвратился из Корсуни с греческой царицей, красота которой заключалась не в нежности румянца на щеках, не в соболиных бровях, а в белилах, в шуршащем шелке одежд, в жемчугах. Она привезла с собою драгоценные скляницы, полные благовоний и притираний, и ради всего этого Владимир забыл о Рогнеде. Но мать с презрением отвергла предложение выйти замуж за какого-нибудь знатного дружинника, заявив с гневом, что, будучи госпожой, она не желает стать женою раба, и маленький Ярослав воскликнул, рукоплеская:

– Поистине ты царица царицам и госпожа господам!

Когда Ярослав подростом, отец отослал его подальше от себя, и молодой князь жил на новгородском дворе, как в осажденной крепости, под охраной варяжских наемников. Время от времени свободолюбивые новгородцы избивали их, если те совершали какое-нибудь насилие. Молодой посадник старался жить в мире со всеми: варяги охраняли его покой, а у новгородских купцов в ларях звенели серебряные и даже золотые монеты. Но когда однажды жители перебили варягов на дворе некоего Парамона, он разгневался и лукаво велел сказать горожанам:

– Ну что ж, мне их уже не воскресить!

Лучшие мужи явились к нему, а он предательски казнил их, мстя за своих наемников. И в ту же ночь пришла весть о смерти великого князя.

Уже некоторое время тому назад Ярослав, не ладивший с отцом, построил новый дворец в Новгороде. Затратив на него немало денег и понимая, что городские доходы ему на пользу, он отказался посылать в Киев ежегодную дань в размере двух тысяч гривен. Там это почли за явное неповиновение отцовской воле, и начитанные люди вздыхали при мысли, что еще раз повторилась на земле история с Авессаломом, проявившим непокорство отцу своему

Давиду. Охваченный гневом, не терпевший никаких противоречий, старый князь решил нака-  
зать мятежного сына вооруженной рукой и отдал приказ готовиться к походу на Новгород.

– Чините дороги и мостите мосты!

Уже смерды приступили к наведению путей, стали рубить деревья и класть гати в непро-  
ходимых болотах, чтобы киевское войско могло пройти в новгородские пределы, но во время  
военных приготовлений Владимир совсем расхворался и умер в Берестове.

Ярослав, только что избивший новгородцев, собрал вече и сказал, вытирая слезы:

– О, милая моя дружина! Вчера я ее перебил, а сегодня она оказалась мне нужна. Отец  
мой умер, Святополк сидит в Киеве и убивает братьев моих.

Новгородцы, наделенные государственным разумом, ответили:

– Хотя ты и иссек наших братьев, но будем бороться за тебя.

Борис, предполагаемый преемник отца на золотом киевском столе, находился в те дни в  
далеких печенежских степях, гоняясь с дружиной за кочевниками, осмелившимися вновь напа-  
дать на русские пограничные селения. Бояре совещались втайне, не зная, как поступить при  
таких обстоятельствах, и не объявляли о смерти князя, опасаясь потрясений. Однако трудно  
было скрыть печальное событие от народа в продолжение длительного времени, и тогда они  
решили предать усопшего земле.

По русскому обычаю тело князя не вынесли из опочивальни в дверь, а спустили на двор,  
разобрав крышу дома. Также, во исполнение другого древнего обряда, мертвеца повезли в  
Киев не на конях и на телеге, а на саних, запряженных волами, хотя было летнее время. Но  
известно, что волы самые чистые и мирные животные в вертепе и не способны потревожить  
последний сон человека брыканьем.

Когда гроб привезли в город, со всех сторон стали сбегаться люди, чтобы в последний раз  
взглянуть на великого князя, и горько плакали, ударяя себя в грудь. Монахи же утверждали,  
что отныне вдовы и сироты остались без покровителя. Под рыдание всего народа и пение псал-  
мов старого князя Владимира Святославича похоронили в каменной гробнице, в прекрасной  
Десятинной церкви, недалеко от гроба греческой царицы Анны, его супруги.

У Владимира было много сыновей. Но Борис замешкался в степях в тщетных поисках  
печенежских становий; Ярослав выжидал событий в Новгороде; Мстислав сидел в далекой Тму-  
таракани, Святослав – в Деревях, Глеб – в богатом пушным зверем лесном Муроме, где часто  
смущали народ волхвы; Судислав правил в рыбном и грибном Плескове, на берегах реки Вели-  
кой. В Киеве в те дни оказался лишь Святополк, сын той пленной гречанки, жены Ярополка,  
которую Владимир взял на свое ложе после смерти брата ради красоты ее лица. Воспользо-  
вавшись отсутствием братьев, Святополк захватил власть в Киеве, окружил себя легкомыслен-  
ными отроками, упивался на пирах греческим вином, услаждал свой слух музыкой.

Борис, еще безбородый юноша, красавец с огромными глазами, с тонким станом, как у  
девушки, любимец отца, возвращался с дружиной из печенежских степей, ничего еще не зная  
о том, что произошло в столице. Святополк же явился ночью в Вышгород, где у него нашлись  
приверженцы, и велел им убить брата. Имена этих дружинников такие: Путша, Толец, Олович  
и Ляшко. А отец им – сатана.

Борис остановился на ночлег, поставив воинские вежи<sup>26</sup> на реке Альте. Злодеи поспе-  
шили туда и услышали, как княжич, один в шатре, пел ночью часы, так как даже в походы брал  
с собою богослужебные книги. Подождав, когда Борис кончил молиться и лег спать, завернув-  
шись в овчину, убийцы ворвались к нему с обнаженными мечами в руках. Никто не оказал им  
сопротивления; многие воины Бориса, не желая жертвовать своею жизнью ради княжеских усобиц,  
разбежались, другие крепко спали в шатрах, и только некоторые отроки пытались прийти

---

<sup>26</sup> Воинские палатки.

на помощь княжичу. Среди них был любимый оруженосец Бориса, по имени Георгий, родом угр. Видя, как враги пронзили Бориса мечом, и слыша его предсмертные стоны, он воскликнул:

– Если погибает мой князь, пусть умру и я!

В ночном переполохе вышгородцы убили и оруженосца, а потом отрубили ему голову, чтобы удобнее было снять с шеи золотое ожерелье, которое Борис подарил этому преданному воину. Самого княжича, который еще дышал, злодеи завернули в рядно, положили на повозку и под покровом темноты повезли в Вышгород. Но, узнав, что брат только тяжело ранен, Святополк послал двух варягов с приказом прикончить Бориса. Они так и сделали. Когда вновь наступила ночь, окровавленное тело несчастного княжича привезли в город и тайно похоронили около церкви.

Глеб был в это время далеко, в муромских лесах. Святополк отправил к нему гонца со словами: «Приезжай не мешкая, ибо отец твой умирает!»

Не подозревая, что за этими словами кроется предательство, Глеб поспешно и с малой дружиной отправился в Киев. В Смоленске он оставил коня и поплыл в ладье. Но здесь Глеба встретил посланец Ярослава и открыл ему глаза на истинное положение вещей. Узнав о кознях Святополка, княжич решил искать спасения в бегстве, однако убийцы уже настигали свою жертву, и собственный кухарь, подкупленный Святополком, убил Глеба тем самым ножом, которым резал к обеду петухов и барашков.

– Как агнца невинного, – вздохнул Ярослав, вспоминая страшные дни. – Месяца сентября в пятый день, в понедельник. В тот час над Русской землей зажглись два дивных светильника.

Но горницу уже посетили другие кровавые призраки. Ярослав вспомнил о своих тогдашних волнениях и страхах. Сестра его Предслава уведомляла в предостерегающих письмах обо всем, что происходило в Киеве. Ярославу оставалось выбирать: или бежать к варягам, как некогда поступил при таких же обстоятельствах отец, и спастись за морем, где жила семнадцатилетняя Ингигерда, о которой молодой князь неоднократно слышал от скандинавских скальдов, воспевавших ее красоту и хозяйственность, или же начать братоубийственную войну.

Ярослав знал, что варяги обвиняли его в скопидомстве, хотя и уважали за ум и предстательную наружность. Но теперь не приходилось жалеть денег, чтобы прибегнуть к помощи наемников. Как раз в те дни в Новгороде очутился ярл Эдмунд, тоже бежавший от грозившей ему опасности, когда конунг Олаф, по прозванию Святой, стал истреблять своих соперников. Слепив самого опасного врага, ярла Рерика, он сделался единовластным господином страны, и Эдмунд опасался, что и с ним будет поступлено так же. Слеплению варяги научились у греков, у которых этот обычай считался чуть ли не человеколюбивым, так как лишение возможности видеть мир обычно заменяло в Константинополе смертную казнь. Ярл покинул Скандинавию и, по примеру многих других товарищей по несчастью, поспешил в Гардарик, или страну городов, как варяги называли Русь.

Беглецы были радушно приняты в теплом дворце новгородского посадника. На первом же пиру в их честь, за чашей меда, среди подогретых хмельными парами повествований о подвигах и любовных приключениях, начался торг с наемниками. Но Ярослав хотел точно знать, на каких условиях Эдмунд предложит в его распоряжение мечи своих храбрых воинов.

Ярослав запомнил мельчайшие подробности разговора. Ведь речь шла тогда не о пустячных вещах, а о жизни и смерти. Вдали сияли синие глаза Ингигерды. Судя по рассказам варягов, приходивших в Новгород, молодой князь считал, что эта северная красавица могла бы стать для него достойной супругой и что не лишне породниться с ее влиятельным семейством, чтобы во всякое время получать помощь от варяжских ярлов. Он чувствовал себя полным сил, хотел бороться за свое будущее, хотя с детства не отличался крепостью мышц, был хром и напор сердечных чувств привык сдерживать и проверять разумом, действовал всегда с осторожностью, свойственной дальновидным людям.

Заметив, что воск обильно стекает на серебро светильника, Ярослав послунил пальцы и снял со свечи нагар. Воспоминания теснились в его душе... В обширной, но низкой горнице пахло тогда гарью факелов и перебродившим медом. На столах стояли деревянные блюда с огромными кусками говядины. Желаящие отрезали острым ножом сколько нужно, клали мясо на ломоть хлеба, солили по вкусу, опуская персты в солонку, и насыщались, прерывая еду только для того, чтобы послушать очередного скальда. Певцов было несколько, русских и скандинавских, и перед тем, как петь, они долго перебирали струны арфы или гуслей, точно в ожидании вдохновения, а потом услаждали слух гостей сильными и красивыми голосами, за какие одинаково ценят певцов воины и женщины.

Лишь два человека оторвались на время от этого песенного мира и держали себя как настоящие купцы, ведущие трудный торг.

Ярослав был очень осторожен в выборе выражений, зная, что каждое сказанное слово будет принято как написанное в грамоте с семью печатями. Кроме того, рядом с ним сидел на пиру седобородый новгородец, тысяцкий Гюрята, с которым приходилось считаться, потому что он предводительствовал сильным новгородским ополчением и в его распоряжении была богатая городская казна.

Эдмунд прилично обратился к Ярославу и сказал:

– Мы хотели бы сделаться защитниками твоего дела. Нам ведь известно, что произошло в Киеве. Нельзя сказать, чтобы жизнь твоя находилась в безопасности, а мои товарищи – опытные воины и способны оказать тебе большие услуги в трудную минуту.

– Не думай, что я так уж нуждаюсь в вашей помощи, – ответил со смехом Ярослав. – У меня тысячи новгородских воинов.

– Не спорю, они неплохо владеют боевыми топорами, но ведь мирные плотники и хлебопашцы не любят покидать свои нивы. А мы готовы служить тебе, пока ты не справишься со всеми врагами.

– Я знаю, что вы храбрые воины. Но все зависит от того, сколько вы потребуете за службу.

У Ярослава была круглая, темная, подстриженная по константинопольской моде борода. Так ее носили греческие цари и те патрикии и магистры, что приезжали иногда на Русь с посольскими поручениями, Эдмунд же, по старому обычаю, отпускал длинные усы и брил подбородок.

Торг продолжался. Ярл подумал немного и заявил:

– Во-первых, – загнул он мизинец на левой руке указательным пальцем правой, – ты пожуешь нам с Рагнармом и всем нашим спутникам подходящие помещения и не откажешь ни в каком добре из своих запасов.

– На такое иждивение я согласен, – ответил Ярослав, переглянувшись с Гюрятой. Старик покраснел от меда, но неизвестно, о чем думал в этот час.

– Сверх того, – загнул Эдмунд еще один палец, – согласен ли ты платить по унции серебра в месяц каждому воину, а начальникам ладей назначить двойную плату? На таких условиях мы согласны сражаться впереди твоего знамени. И позволь тебя уверить, что за нашими щитами ты будешь чувствовать себя в полной безопасности.

Варяг не очень высоко ставил воинские качества Ярослава, еще не проявившего себя на полях сражений, и считал, что предлагает очень выгодную сделку, но молодой князь, наделенный более тонким восприятием человеческих отношений, чем грубоватый наемник, нахмурился. Он не собирался прятаться за чужими щитами! Кроме того, условия варягов показались ему малопривлекательными. Ярослав посмотрел на Гюряту, как бы прося у него поддержки, и ответил:

– На это я не могу согласиться.

Однако Эдмунд вел себя так, как будто бы всю жизнь занимался торговыми делишками, что было недалеко от истины.

Он вздохнул.

– Жаль... Впрочем, если тебе затруднительно сейчас платить деньгами, – сказал варяг после некоторого размышления, – то мы согласны принять плату за службу мехами. А если у нас случится военная добыча, ты заплатишь серебром.

Молодой посадник обдумывал выгодность соглашения. Ценные меха бобров и соболей он мог и сам с выгодой переправить в греческую землю, где зябкие красавицы кутались в соболиные шубки... Но требовалась помощь наемников. С одними новгородцами рассчитывать на успех не приходилось. Особой нежности к своему князю они не испытывали. Эдмунд прав. Эти миролюбивые люди брались за оружие только в случае крайней нужды, когда на них нападали. А богатым купцам, как Гюрята, нужен только свободный путь от Новгорода до Царьграда...

Ярослав стучал пальцами по столу. Гюрята протянул чашу отроку, чтобы тот налил меду.

– Пожалуй, на такие условия мы можем согласиться? – вопрошающе посмотрел на него князь.

Польщенный, что молодой Владимирович ничего не предпринимает без его совета, старый тысяцкий погладил степенно бороду и ответил:

– Ты мудро решил. Новгород поможет тебе.

Соглашение было заключено. Варяги вытащили свои птицеобразные ладьи на берег, чтобы зимовать в Новгороде. Ярослав велел предоставить им хорошо натопленные дома, а горницу, в которой поселились Эдмунд и Рагнар, его седуусый сподвижник, обить красной материей. Воины стали немедленно вносить в нее оружие, меха, железные уключины, весла, неводы для ловли рыбы – все, что могло пропасть без присмотра, и вскоре это жилище превратилось в обжитое логово воинов, где топится очаг, пахнет овчиной и железом, куда днем рабы носят мед в глиняных кувшинах, а ночью приводят женщин.

В течение всей зимы никаких военных действий не предпринималось. Наступила весна. Снова выглянуло солнце, и быстрые ручейки побежали вдоль холмистых новгородских улиц, изливаясь с веселым журчанием в Волхов. Ярослав по-прежнему выжидал, а Святополк продолжал свое каиново дело. Святослав, княживший в Деревях, ближе всех к Киеву, узнав, что и ему угрожает опасность со стороны немилосердного брата, надумал бежать в Угорщину, но где-то уже у самых голубых Карпатских гор его настигли посланные вдогонку печенег и безжалостно убили.

В конце концов Ярославу ничего не оставалось, как выступить с оружием в руках.

Встреча новгородцев с войсками Святополка произошла несколько позже, когда уже стал замерзать Днепр. Это случилось у города Любечь, где противники расположили свои станы на разных берегах реки. Однако время проходило в бездействии. Ни Ярослав, ни Святополк не решались переправиться через реку. Дружинники Святополка, большие любители пенного меда и веселья, кричали с противоположного берега, надсмехаясь над новгородцами:

– Эй, плотники! Зачем пришли сюда с вашим хромцом? Вот мы вас заставим рубить нам хоромы!

Ярослав в детстве покалечил себе ногу, слегка припадал на нее. Но новгородцам подобные шутки были не по душе. Они стали требовать от своего князя:

– Чего ты ждешь? Перейдем на ту сторону! А кто не пойдет с нами, того мы убьем.

В лагере Святополка находился тайный друг Ярослава, и осторожный князь послал к нему согладатая спросить:

– Что нам делать? Меду мало, а дружины много...

Благожелатель велел передать князю:

– Настал час поить дружину медом!

Святополк впервые на Руси привел против христиан печенегов. Он стоял со своей конницей между двух озер, не давая себе отчета, что всадникам трудно действовать в болотистой местности. Повязав головы белыми убрусами, чтобы можно было отличить в темноте своих от

врагов, новгородцы в полночь переправились на противоположный берег, а ладьи оттолкнули, отрезая путь отступления малодушным. Началась ночная битва. Эдмунд с варягами сражался на другом крыле. Впоследствии он уверял конунга, что это его храбрецы, а не новгородские мужики решили участь сражения. Но, вспоминая с книгой в руках ту страшную битву, Ярослав видел все, как было. Перед его умственным взором вновь возникла суматоха сражения. Ярл пререкался с Гюрятой и убеждал его поставить стражу у ладей, а не сталкивать их в реку. Но ладьи все быстрее скользили по черной воде в темноту ночи. Варяги негодовали на такую опрометчивость, и новгородцы осыпали наемников обидными словами.

– Какое войско так поступает! – взывал Эдмунд.

– А ты за что служишь? За гривну в месяц? – смеялись над ним новгородцы, вдруг превратившись из мирных плотников в кровожадных барсов.

Благодаря их мужеству Святополк потерпел жестокое поражение и бежал с остатками своих союзников в степи, а оттуда темными окольными дорогами перебрался в Польшу, Ярослав же отпраздновал победу и сел на киевском столе.

Но русского князя ждали новые затруднения и опасности. Святополку удалось завязать союзнические отношения с польским королем Болеславом, и по их наущению печенеги в огромном числе напали на Киев. Кочевников этот город манил сказочным богатством, горами мехов и серебряными ожерельями киевлянок, и они рвались к городским воротам. Только к вечеру Ярослав одолел печенегов, погнал в степь и там рассеял, как прах. А вскоре другие бедствия обрушились на Русскую землю. Киев опустошали чудовищные пожары. Угроза со стороны польского короля не исчезла, а срок договора с варягами кончался. Жалованье им часто задерживалось по несколько месяцев, и однажды Эдмунд спросил конунга, желает ли он возобновить соглашение. Надеясь, что полученные в Киеве известия о смерти Святополка соответствуют истине, и зная о неладах поляков с немцами, Ярослав отвечал уклончиво. Но ярл настаивал на определенном ответе.

Тогда князь сказал:

– Полагаю, что в настоящее время у меня уже нет необходимости в твоих людях.

– Как знаешь, – ответил ярл, кусая ус.

– А если бы я вновь захотел прибегнуть к вашей помощи, то какие твои условия?

– Мы требуем теперь по унции золота на человека, не считая платы начальникам ладей, – развязно заявил Эдмунд.

– Тогда ты можешь считать наш договор оконченным.

– Это в твоей власти, конунг.

Великий хитрец и дальновидный человек, Ярослав только делал вид, что может обойтись без варягов, чтобы подешевле заплатить за их услуги. Однако ярл тоже понимал толк в торговых сделках. Он ехидно спросил:

– Но действительно ли ты уверен, что Святополка нет в живых? Тогда мы знали бы все подробности о таком важном событии. А между тем где же его могила? Приличные ли были устроены ему похороны? Что-то ничего не слышно о поминках.

– Может быть, мы еще услышим, – пробормотал князь.

– А люди, наверное, знали бы о местоположении могилы знаменитого воина, – не унимался Эдмунд. – Купцы, что приходят из Польши, рассказывают много всяких историй, но об этом не говорят ни слова. Не правда ли, странно, конунг? Боюсь, что твои люди только из раболепства убеждают тебя, что Святополк умер, чтобы сделать приятное своему господину, а на самом деле тут происходит нечто иное.

– Тебе известно что-нибудь? – не выдержал Ярослав.

Настало время вести игру ярлу. С деланым равнодушием он стал рассказывать:

– Я сам ничего не видел, но люди говорят разное. Осведомленные путешественники, которым я вполне доверяю, передавали, что твой брат жив и зиму провел в степях, собирая там воинов. А ты сам отлично понимаешь, для чего они нужны ему.

Положение Ярослава оставалось еще весьма непрочным, поэтому приходилось считаться с этими жадными до золота наемниками, и договор был возобновлен. Ярослав даже постарался завязать отношения с немецким императором Генрихом и заключил с ним союз, но польский король и Святополк разбили немцев. Позднее оба напали с поляками, уграми и печенегами на Русь. Летом они расположились на реке Буге. Туда пришли и полки Ярослава. Но он, по своему обыкновению, медлил начать военные действия, не стремясь проливать человеческую кровь. В этом сказывался его русский характер: никогда не начинать драку первым.

Зато варяжский воевода Блуд, дядька Ярослава, известный задира и насмешник, разъезжая на коне по берегу, издевался над непомерно толстым польским королем:

– Вот мы тебе скоро проткнем копием брюхо!

Такая похвальба не нравилась русским воинам, в большинстве своем хлебопашцам. Они любили сражаться в открытом поле, строй на строй, и уважали врага, чуждого вероломства, но битву горестно сравнивали с жатвой или с сельскими работами на гумне, где цепи стучат по снопам. Так и война веет душу от тела.

Повода для войны не было. Ярослав читал книги и предавался рыбной ловле. Однажды он оставил войско и удил на реке щук, радуясь счастливому улову. Воспользовавшись этим, Болеслав по наущению Святополка напал на киевское войско, и сам Ярослав едва спасся после этого разгрома. С немногими воинами, бросив все на произвол судьбы, он опять бежал в Новгород. Дорога на Киев была теперь открыта для врагов, и поляки вступили во главе со своим тучным королем и Святополком в притихшую столицу. Короля встретил у ворот и передал ему в виде добычи церковные сосуды тот самый Анастас, что некогда послал из Херсонеса стрелу в русский лагерь с указанием, где надо перекопать подземные трубы, доставлявшие в осажденный город воду. Владимир сделал Анастаса епископом и поручил ему Десятинную церковь, и вот он изменил Русской земле, как Иуда.

Ярослав уже считал, что все теперь потеряно, и в полном отчаянье собирался плыть за море, но упрямые новгородцы порубили секирами княжеский корабль, снаряжавшийся в морское путешествие, и решительно заявили князю:

– Хотим еще биться с Болеславом!

К счастью, скоро обстоятельства изменились в пользу Ярослава. Вражеские отряды, стоявшие в русских городах, вели себя разнузданно и были один за другим перебиты восставшими жителями. Болеслав поспешил уйти в Польшу. Святополк остался в Киеве с одними печенегами, и от него все отвернулись, так как русские люди не любили этого князя, зачатого в прелюбодеянии и пришедшего в Киев с иноплемениками.

Между тем богатые новгородцы снова собрали необходимые средства, чтобы нанять в помощь себе варягов, и двинулись на освобождение Киева. Знаменитая битва, о которой долго говорили в самых отдаленных краях Русской земли и после которой многие жены плакали в печенежских степях, произошла на реке Альте. Сеча была ужасной. Наступила пятница, и всходило солнце, когда обе стороны начали бой. Сходились трижды, воины рубились, хватили друг друга за руки, и кровь ручьями текла по оврагам. К вечеру Святополковы знамена пали, и новгородские воины отерли с чела трудовой пот, точно закончили обильную жатву. Святополк бежал с остатками печенежских войск, и Ярослав вступил в Киев...

Свеча догорала, и в полумраке стали выползать из темных углов опочивальни страшные тени. Ярославу припомнилась еще одна беседа с Эдмундом. Дело происходило так...

Однажды ярл спросил его в явном смущении:

– Скажи, конунг, как нам поступить с твоим братом, если он случайно попадет в наши руки? Не разумнее ли убить его? Ведь никогда не настанет тишина в государстве, пока он будет жить на земле и замышлять против тебя всякие козни.

Ярослав вздрогнул. Он знал, что Эдмунд прав, что Святополк – брат лишь по отцу, а может быть, и не брат – много зла сотворил на Руси и не перестанет и впредь проливать христианскую кровь ради своего честолюбия. Но все-таки они были с ним из одного гнезда. Уклоняясь от прямого ответа и глядя в сторону, князь сказал сквозь зубы:

– Не могу никого подговаривать на убийство Святополка.

Он ушел поспешно в опочивальню, чтобы прервать неприятный разговор. Ах, почему память так цепко хранит проклятые подробности былых деяний? Есть ли прощение в будущей жизни за братоубийство?

А ярл Эдмунд подумал, что разгадал тайные мысли и опасения русского конунга. Вскоре после этого, рано утром, Эдмунд позвал своего побратима по оружию Рагнара и еще десять отборных воинов, среди которых оказались оба Торда, Бьерк и другие храбрецы, и велел им седлать коней. Всем было приказано одеться в платье торговых людей. Двенадцать всадников, позевывая на утреннем холодке, отправились в дубовый лес очередной скандинавской саги.

Позднее варяги рассказывали Ярославу всякие небылицы. Якобы, нацепив бороды из пакли, они проникли в лагерь Святополка, скрывавшегося в те дни с остатками своего войска в далеких степях. Выдав себя за купцов, Эдмунд с товарищами ворвались ночью в шатер князя и убили его предательским образом. Затем поспешили обратно в Киев, и у одного из всадников болтался притороченный к седлу мешок с головой Святополка. Настало утро. Эдмунд явился в княжеский дворец. Этот наемник, для которого убить человека, даже не такого презренного, как Святополк, было так же просто, как раздавить муху, спросил Ярослава, довольный своей ловкостью и удачей:

– Узнаешь?

И вытряхнул из мешка страшную мертвую голову, упавшую на пол с непереносимым стуком.

Ярослав затрепетал и закрыл лицо обеими руками. От волнения оно налилось кровью...

Даже теперь, спустя много лет, князь выронил книгу из рук и застонал. Будучи ребенком, он жалел птенцов, выпадавших из гнезда, порой ему становилось жаль до слез слепцов и убогих. И вот столько крови пролилось на земле ради него! Когда же настанет конец чело-векоубийству?

Впрочем, мысли о мире стали приходить в голову Ярославу уже после того, как он упрочил свое положение. О мире говорилось в книгах, которые князь прочел. Но в те дни он еще находился весь в ожесточении борьбы за власть. И все-таки сердце его тогда мучительно жалось. А Эдмунд, как будто речь шла о самых обыденных вещах, спокойно сказал:

– Прикажи похоронить эту главу с подобающими почестями!

– Опрометчиво ты поступил, – прошептал князь, и слезы полились у него из глаз.

Голова человека, которого книжники называли Окаянным, являла собою ужасное зрелище: искаженное лицо с оскаленными зубами, борода в запекшейся крови, сведенный на сторону рот; одно тусклое око было приоткрыто, точно мертвец подмигивал своим врагам и убийцам. Впрочем, присутствовавшие при этой беседе воевода и бояре смотрели на страшный трофей без большого волнения. Даже испытывали некоторое христианское удовлетворение: бог еще раз покарал зло! Чтобы лучше рассмотреть, воевода повернул голову ногой в зеленом сапоге...

Однако на этом еще не кончилась междоусобная война. В Тмутаракани сидел другой брат Ярослава, храбрый и веселый Мстислав, любимец своей набранной из всяких бродяг дружины.

Тмутаракань, таинственный город, лежала в далеком краю Русской земли, у подножия Кавказских гор. Удобное сообщение по морю связывало его с Херсонесом и Константинопо-



лем и весьма благоприятствовало торговле. В этом разноплеменном поселении обитали русские и греки, восточные купцы и хазары; сюда стекались беспокойные люди и беглые рабы; здесь рекой лилось доступное всякому вино, потому что на холмах, со всех сторон обступивших город, росли тучные виноградные лозы; на улицах часто слышалась греческая речь, и на базарах продавались странные для северян южные плоды – дыни, финики и рожки. Здесь уже веял с моря свежий ветер, надувая паруса больших торговых кораблей, и еще от тех времен, когда в этих местах обитал сильный, но исчезнувший с лица земли народ, в Тмутаракани остались вымощенные плитами улицы, кирпичные дома с внутренними двориками и глубокие каменные водоемы, а на городской площади возвышалась огромная статуя, искусно высеченная из мрамора рукой каменотеса, однако не пощаженная временем. Некий философ, случайно попавший сюда, рассказывал на пиру Мстиславу, что этот памятник воздвигла в честь своего мужа, боспорского царя Перисада, некогда владевшего областью, его верная супруга, оставшаяся вдовицей. Разговор происходил за чашей вина, и присутствовавший за столом русский певец внимательно слушал грека, с трудом объяснявшегося по-славянски, а потом использовал рассказ в одной из своих песен, и позднее другой певец заимствовал у него упоминание о тмутараканской статуе, освещая нам черную ночь давних времен.

Жизнь в Тмутаракани, приятная и полная перемен, так нравилась Мстиславу, что он не желал перебираться в Киев. Это был человек, который холил свое сильное тело и больше всего на свете любил свою дружину. Воины тоже почитали князя за храбрость в бою и щедрость на пирах. На дворе у него годами жил великий Боян, русский соловей. Певец назвал Мстислава Храбрым, воспел подвиги победителя Редеди и порой подсмеивался в своих песнях над хромоногим Ярославом, так как в Киеве скупилась на пенязи, не любили тратить на пиры. А потом книжники предали эти песни забвению и прославили Ярослава, наделив его образ благородными чертами и приписав ему христианские добродетели за любовь к церковным людям.

Мстислав отличался красотой, огромными глазами и не знал страха смерти. Однажды он пошел войной на соседних кософов, чтобы наказать их за ночные набеги, во время которых эти разбойники часто убивали жителей Тмутаракани и угоняли скот. Услышав об этом, косожский князь Редедя прислал сказать ему:

– Зачем мы будем проливать кровь наших воинов? Хочешь, сразимся друг с другом, и если ты одолеешь, то возьмешь мои сокровища и моих жен, а если я одолею тебя, то ты отдашь мне все, что тебе принадлежит.

Мстиславу понравилось такое предложение, и он крикнул через поле, разделявшее два воинских строя:

– Выходи на единоборство!

Редедя был великан с мощными руками и бычьей шеей. Надеясь на свою непомерную силу, он предложил русскому князю не биться на мечах, а бороться врукопашную. Мстислав согласился и на это, хотя был тонок станом и не такого роста, как кософ. Они схватились посреди поля, и Редедя стал одолевать, а косожские воины поощряли своего предводителя дикими криками, но Мстислав напряг в последнем усилии мышцы, стиснул противника железными руками и ударил о землю, вызвав бурю криков на русской стороне. Выхватив нож, он зарезал Редедю. Тогда косоги побежали, и княжеская дружина далеко преследовала их в поле.

Так была избавлена Тмутаракань от опасности.

В память этого события Мстислав построил в городе каменную церковь, которая стоит до сего дня.

Сражение, которое должно было решить, кто сядет в конце концов на золотом киевском столе, произошло под Лиственом. Мстислав поставил в чело свой полк северян, как обычно называли жителей Чернигова, а дружину, набранную из ясов и кософов, – на правом и левом крылах. Воины Ярослава вышли на поле широким строем, развернули голубое княжеское

знамя с изображением архангела, предводителя небесных сил, и с железным лязгом обнажили мечи. В воздухе стояла тишина, как перед грозой.

Битва началась по звуку певучей серебряной трубы. Ярл Якун, военачальник Ярослава, высокий белоусый воин в привлекавшем все взоры золототканом плаще, величественно сидел на белом коне. Он махнул рукой в железной перчатке, и варяги мерным шагом пошли на смерть. Им заплатили за два месяца вперед. Это были как на подбор храбрые воины, предпочитавшие гибель в бою медленному умиранию в болезни на соломе. Ярл ехал позади строя, чтобы удобнее наблюдать за ходом сражения. В какой-то давней стычке под Антиохией, когда он еще служил греческому царю, сарацинская стрела пронзила ему левый глаз, и с тех пор Якун носил черную повязку на лице, и его прозвали за это Слепым.

Была осень, стояли воробьиные ночи. На высоких рябинах уже поспевали красные ягоды, низкие тучи ползли по небу, весь день шел дождь, освежавший разгоряченные тела воинов. Но битва не прекращалась даже ночью, когда вдруг разразилась гроза и ветвистые синие молнии стали беспрестанно ударять в землю, а на небесах не умолкая гремел гром.

При вспышках небесного огня поднятые для удара мечи казались в это мгновение неподвижными в ослепительном сиянии. Знамена намокли от дождевой воды и беспомощно повисли на древках.

Всю ночь варяги рубились с черниговцами. Но в минуту, подстереженную с большим воинским разумением, когда уже стало видно, что наемники изнемогают, Мстислав обрушил на врагов всю свою конницу. Скандинавы не выдержали стремительного натиска, сопровождаемого диким воем, и побежали, устилая под ударами кривых сабель мертвыми телами землю. Когда воинский строй превращается в беспорядочное стадо, нет ничего страшнее для пешего воина, чем блеск клинка в руке вражеского всадника.

Понимая, что битва проиграна, Ярослав искал спасения в бегстве. Вслед за ним помчался ярл Якун, оставив на поле сражения свой знаменитый плащ, производивший такое впечатление на молодых воинов и русских летописцев. Потом этот прославленный воин уплыл за море и вскоре умер там, не перенеся позора поражения и гибели товарищей по оружию...

Ярослав закрыл книгу и тяжело вздохнул, вспоминая слова Мстислава, о которых ему передавали впоследствии, не без насмешки над его жалким бегством. Будто бы Мстислав, объезжая под утро поле битвы, сказал:

– Ну как мне не радоваться! Вот лежит северянин, а вот – варяг... Моя же дружина цела.

Ярослав смотрел на догоравшую свечу и ясно представлял себе веселие тмутараканского князя. Что значили для этого легкомысленного любителя пиров и блудниц заботы о государстве? Мстислав думал не о Русской земле, а лишь о своем приятном житии, об охотах на туров и о блестящих, хотя и бесполезных победах. Между тем наступили иные времена. Илларион вразумительно объяснил всем в своих сочинениях, что земля, и люди, и все, что стоит на земле, – города, погосты, церкви, гумна, все произрастающее на ней – составляют государство, и за это придется дать ответ перед судом потомков.

Ярослав сел, опираясь руками о постель, и еще раз увидел то осеннее утро, когда он, спасая свою жизнь, как безумный, проскакал в тумане мимо Листвена. Если бы князь оглянулся, то увидел бы, как над полем сражения уже кружатся черные птицы, готовясь сесть на трупы и выклевать глаза у мертвецов. Победители, как это везде было в обычае, стягивали с убитых кольчуги, одежду и обувь, собирали уроненное оружие и стрелы и весело перекликались на поле, радуясь добыче. Ярослав не оборачивался. Он спешил в Новгород. Новгородские мужи понимали, что сила государства в единении всех русских областей, и могли с одинаковым упорством сражаться за Киев и Тмутаракань, как и за свой город и его торговые пути.

Но Мстислава не тянуло на берега Днепра. Он велел сказать Ярославу:

– Садись в Киеве, ты старший брат, а мне будет та сторона.

Границей между двумя владениями стал Днепр. К Ярославу отошли Киев, Новгород, Ладога, Смоленск, Полоцк и многие другие города, к Мстиславу – Чернигов, Любечь, Переяславль и милая его сердцу Тмутаракань, где уже плескалось теплое море. Окончательный мир был подписан в Гордце.

Никто не мог оспаривать великолепную победу Мстислава. В упоении своим величием, окруженный певцами и тоненькими, как тростинки, кавказскими красавицами, молодой князь весело пировал, и его подвиги под Лиственном воспел седоусый певец с косматыми бровями и цепкими, как у орла, пальцами, рвавшими струны на княжеских пирах. В ту ночь, когда происходила битва под Лиственном, Боян стоял под дубом на соседнем холме и видел, что при вспышках молний поднятые для удара мечи казались на мгновение неподвижными.

Была осень,  
Стояли ночи рябинные...

На пиру присутствовал константинопольский царедворец, прибывший в Тмутаракань с тайным поручением от греческого царя, и, поблескивая черными ласковыми глазами, пил небольшими глотками вино из чаши, чтобы продлить удовольствие, вместе с другими внимая певцу. Патрикий знал русский язык, так как по матери происходил из знатного болгарского рода Николицы. Его звали Кевкамен Катакалон. Потрясенный песнью Бояна, он сказал:

– Поистине это русский Гомер!

Грек, в нарядном красном плаще с золотым украшением на груди, хвалился белыми холеными руками, тяжелыми перстнями, унизывавшими его пальцы. Он говорил вкрадчивым голосом, но больше слушал. В Константинополе хорошо знали о недоброжелательном отношении Ярослава к ромеям, и патрикия Катакалона послали в Тмутаракань с повелением еще раз поднять Мстислава против брата. В Священном дворце решили, что легче иметь дело с этим падшим на удовольствия молодым князем, чем с расчетливым и недоверчивым Ярославом. Патрикию показалось, что песня о победе подогрела мечты амфитриона о подвигах и что наступил благоприятный момент завести речь о борьбе за первородство. Улучив минуту, когда старый певец подкреплялся чашей пенного меда, грек шепнул князю:

– Вот ты пируешь, а не имеешь никакого представления о том, что происходит в Киеве!

– Какое мне дело до того, что творится в Киеве?

Князь нахмурился, недовольный, что с ним заводят серьезные разговоры на пиру, в час веселия.

– А между тем твой брат собирает воинов, чтобы захватить Чернигов.

– Кто тебе это сказал?

– Так рассказывали греческие купцы, пришедшие из Киева в Херсонес.

– Брат не любит войну.

– Но желает быть единовластным во всей вашей стране.

– Он клялся на кресте.

– Клятву часто нарушают, если она невыгодна.

– Не верю, чтобы Ярослав стал клятвопреступником.

– Но почему ты не хочешь предупредить события?

Мстислав скривил губы, казавшиеся еще более яркими от белокурой бороды. Он презирал согладатаев и наушников. К чему утруждать себя заботами, когда за столом сидят друзья и глаза женщин полны неги. Патрикий понял, что поторопился, и, по-змеиному облизнув губы, поднял чашу, звякнув о нее золотыми перстнями...

Но вскоре в Тмутаракани умер сын князя Евстафий, а некоторое время спустя, простудившись на охоте, преставился и сам Мстислав. Его положили в церкви Спаса, стены которой тогда были выведены на такую высоту, сколько можно достать рукою, сидя на коне. Теперь

уже ничто не мешало Ярославу объединить русские земли от Тмутаракани до Карпат. Снова Русская земля стала единой.

Происходили и другие события в жизни Ярослава. Было столкновение с неразумным племянником Брячиславом, осмелившимся напасть на Новгород и похитить в святой Софии золотые церковные сосуды, светильники и облачения. Но на реке Судомири его настигла карающая десница Ярослава, пленные и добыча были возвращены в Новгород. Позднее Ярослав ходил войною на поляков, ятвягов и литовцев и неизменно возвращался с победой. Польскому королю Казимиру он помог подавить восстание язычников и посадил его в Гнезно на престол.

Короткая ночь проходила за книжным чтением и в воспоминаниях. За окном пропели вторые петухи. Князю снова слышался шум шагов, приглушенный разговор.

У дверей княжеской ложницы в ту ночь стояли на страже отроки Янко и Волец. Они то дремали, сидя на полу, то шепотом рассказывали друг другу разные небылицы. Оба были сильные безбородые юноши, их клонило ко сну в этой дворцовой тишине. Но каждую минуту мог явиться ярл Филипп, начальник охранной стражи, и спать они опасались.

Волец шептал о том, как у них в клетки чудил однажды домовой.

– Каков же он собою? – со страхом спрашивал Янко.

– Весь волосами оброс, мукой осыпан.

– Ты видел?

– Нет, не видел. Мать видела.

– Говорил что-нибудь?

– Домовой?

– Он.

– Шипел добродушно.

– А еще что?

– Ничего больше не случилось в тот час.

В свою очередь Янко стал рассказывать, как на реке в лунную ночь смеются и плачут русалки.

– Луна светила, как днем. Дерево склонилось к воде. На его суку сидела нагая дева, качалась, расчесывала волосы зеленого цвета.

– Нагая?

– Звала меня, лаская свои нежные перси.

– А ты?

– Мне страшно стало. Русалка звала, обещая лобзання, но я знал, что она в омут манила. Это было на реке Сетомле.

У Янко кипела молодая кровь, отроку не терпелось жениться на румяной боярской дочери, всюду ему мерещились девические лики. Он родился сыном знатного дружинника, по возмужании ему предстояло сидеть в княжеском совете.

Волец же случайно попал в отроки: его взяли в дружину по просьбе пресвитера Иллариона, которому князь ни в чем не мог отказать. Отец отрока был простым плотником из Курска, усердно работал по церковному строению и этим снискал себе любовь священника, и это он устроил юношу в дружину. Но курянин еще не привык к дворцовой тишине, и ему казалось, что сапоги его слишком громко стучат по лестницам и переходам. Вольца часто обижали боярские сыновья, хвалившиеся своей знатностью и богатством, и тогда ему хотелось уйти в один из тех городов на реке Роси, что защищают русские пределы от печенегов, или в Тмутаракань.

Он мечтательно говорил об этом городе:

– Рассказывают, там свобода. Всякий человек волен, как ветер. Вот почему туда бегут рабы.

– Ты же не раб, – заметил Янко.

- Не раб, и мой отец свободный, и дед. Потому мы и бережем свободу.
- Здесь легче снискать милости.
- Здесь смеются над моей бедностью. Лучше бы я был плотником, как отец...

Приятель умолк и схватился за меч. По лестнице кто-то осторожно поднимался. Оба вздохнули с облегчением, когда увидели, что это скопец и с ним ярл Филипп и толстый воевода...

Ярослав стал прислушиваться. Теперь у двери явственно слышались голоса, звон оружия.

- Отроки, кто там? – крикнул князь, протягивая руку, чтобы взять меч.

Но за дверью раздался знакомый голос скопца. Как в Священном константинопольском дворце, он гнусаво забормотал благочестивой скороговоркой:

- Во имя отца, и сына, и святого духа...
- Аминь, – сказал князь.
- Беспокоим тебя, светлый князь.
- Что тебе?
- Важные вести.

Ярослав опустил ноги на пол и босой, отчего еще больше хромал, подошел к двери и отодвинул дубовый, прочный, как железо, засов.

Слабый свет свечи, которую он держал в руке, озарил желтое, морщинистое лицо дворского Дионисия, напоминавшее увядшее яблоко, а за ним седые усы воеводы и необычайную красоту ярла Филиппа, волосы которого напоминали об архистратиге Михаиле. Позади стояли державшие ночную стражу отроки, взволнованные, но довольные, что нечто произошло во время их службы, о чем можно будет рассказывать приятелям.

– Что случилось? – повторил князь, по привычке хмурясь, когда говорил с людьми, зависевшими от него.

- Эпистолия!

Евнух протянул ему кусок бересты, на которой было кое-как нацарапано несколько слов. Князь поднес послание к свече и не без труда прочитал его. Мытник сообщал, что шлет гонца, и упомянул его имя.

- Гонца зовут Лестник? – спросил князь.
- Скопец посмотрел на воеводу, и тот ответил поспешно:
- Лестник.
- Что говорил?
- Прибыли послы от франкского короля.

Послы от франкского короля! Отпустив людей, Ярослав бережно положил книгу в ларь и запер его. Ключ со звоном повернулся в искусно сработанном замке. В окне уже занималось утро. Наступило время умыться руки и пройти по деревянному переходу на каменное гульбище, шедшее вокруг святой Софии, а оттуда через дверцу – в кафизму, чтобы слушать утреню. Ярослав с удовольствием вспомнил, что сегодня должен служить пресвитер Илларион. С ним надо будет посоветоваться о многих вещах. Митрополит Феопемпт, изнемогая от недугов, в этот час еще нежился в постели и, по своему высокому церковному званию, совершал богослужение только в особые дни.

Ярослав не любил этого человека с дурным дыханием изо рта, хотя в глаза называл святым отцом и верил, что от его молитв зависит спасение души. Как это ни странно, но немощный митрополит обладал огромной властью над людьми, потому что за ним стояли вселенские соборы и апостолы. Без епископов невозможно создать христианскую церковь на Руси, и князь чувствовал себя как в духовном плену. Разорвать эти цепи еще не пришло время. Но пусть греческий царь не простирает руки на Русскую землю.

Теперь приходилось подумать о многом: какие выгоды можно извлечь из нового брачного союза и не даст ли родство с франкским королем возможность завязать сношения с далеким

Римом, чтобы при случае оказывать давление на заносчивый Царьград? Как поступить? Поскорее послать за Всеволодом, чтобы подготовиться к приему послов, а пока сообщить Ирине, как называл князь жену, о полученном известии. Меньше всего Ярослав думал о том, чтобы обо всем уведомить дочь. Участь всякой девицы – подчиняться родительской воле, жить в послушании.

Одеваясь с помощью евнуха, великий князь перебирал в памяти, сколько волнений он испытал, когда отправил послов к немецкому кесарю Генриху, в город, который называется Гослар, с предложением заключить союз и жениться на Анне, и как он негодовал, когда посланцы привезли обидный отказ и сообщили об этом, потупив глаза. Теперь обида будет отомщена. Утешало также, что и другие браки совершены достойным образом. Любимый сын Всеволод женат на дочери греческого царя Константина Мономаха. Она недавно приехала на Русь, и было сладко принять в своем отеческом сердце такую нежную женскую красоту, озаренную ласковой улыбкой. Святослав уже много лет тому назад женился на Оде, дочери графа Штадского родственника Бурхарда, епископа трирского и ближайшего советника кесаря Генриха; Изяслав – на Гертруде, дочери маркграфа Саксонского; сестра Доброгнева стала польской королевой, выйдя замуж за Казимира, который в вено за нею отдал восемьсот пленников, захваченных Болеславом в несчастном сражении на Буге; дочь Елизавета была за норвежским королем Гаральдом, другая дочь, Анастасия, – за венгерским королем. Эти браки укрепляли дружбу и мир, а тишина и мирное житие благоприятствуют сельским работам и переписке книг. Когда война, пахарю не до плуга, а книжнику не до тростника для писания.

### 3

Ингигерда, при крещении нареченная Ириной, выбрала для опочивальни горницу, соединенную с ложницей Ярослава низенькой дверцей. В тот год, когда старый муж оставил все земные помышления, княгиня перебралась сюда со своими подушками, а после отъезда сестер и Анна спустилась к матери из девичьего терема, где ей стало скучно и страшно в одиночестве, и теперь спала вместе с родительницей на широкой постели под беличьим покрывалом.

Отцом Ингигерды был конунг свевов, а матерью – дочь храброго ободритского князя, поэтому княгиня с детства знала славянский язык. В юности она получила скандинавское воспитание и до конца жизни тосковала по далекому северу, где стоят голубые ели. В те дни она была влюблена в норвежского ярла Олафа, которого потом стали называть Святым в награду за услуги, оказанные церкви, и за деятельную борьбу с язычниками. Но красивую, статную девушку предназначили выдать замуж за богатого русского конунга, хромоногого Ярослава. Он дал ей в вено Ладогу, и молодая княгиня назначила в этот тихий город посадником своего родственника, ярла Рагнвальда. При таких обстоятельствах в слезах, но покорная родительской воле, Ингигерда стала госпожой Гардарика, как скандинавы называли Русь, хотя ей порой и казалось, что не она господствует в этой стране, а кто-то другой распоряжается ее жизнью и она лишь несется в потоке событий, не зная, куда и с какой целью.

Это произошло вскоре после того, как ярл Эдмунд прибыл вместе с верным побратимом Рагнаром и многочисленными товарищами в Новгород, где они нашли применение своим воинским талантам. Но варяжские ярлы считали, что если не было войны, то следовало возможно приятнее проводить время за пиршественным столом, с чашей греческого вина в руке или в объятиях красивой и пламенной женщины, потому что жизнь человека коротка и нужно ловить ее сладостные мгновения. Эту жизнь украшали песни скальдов, воспевавших подвиги героев и морские путешествия. В некоторых занимательных сагах упоминалось о хозяйственных способностях и твердости духа Ингигерды. Правда, уже прилетел с юга теплый ветер, и все стало хрупко в этом скандинавском мире, напоминавшем ледяные узоры на зимних окошках. Уже не представлялись такими убедительными блаженства Валгаллы, и порой эти бро-

дяди, служившие то русскому конунгу, то византийскому императору и вообще всем, кто мог заплатить по унции золота в месяц на человека, кончали жизнь, если им удавалось избежать сарацинской стрелы или печенежской сабли, благочестивым путешествием в Иерусалим и даже монастырем.

Однажды Олаф, конунг Норвегии, гостил в Киеве у Ярослава и Ингигерды. Вместе с Олафом приехал его сводный брат Гаральд, по прозвищу Смелый, в тот год впервые увидевший гордую Елизавету. Анне тогда исполнилось двенадцать лет.

Киевский князь, может быть желая поскорее избавиться от слишком красивого гостя, присутствие которого явно волновало Ингигерду (разве не слышали люди ее женские вздохи?), помог Олафу вернуться на родину, где тогда взяли верх язычники, и норвежский конунг начал борьбу за свои права на престол. Однако в морской битве при Стикльстеде Олафа сразила вражеская стрела. Гаральд, тоже принимавший участие в этом сражении на одном корабле с убитым, еще раз отправился в Киев и привез туда Магнуса, малолетнего сына конунга. Юный ярл нашел радушный прием во дворце, где хозяйкой стала близкая ему по крови Ингигерда, взявшая на себя заботы о воспитании мальчика. Воспользовавшись этим случаем, Гаральд просил руки Елизаветы, но Ярослав не испытывал большого желания отдать красивую дочь замуж за бродягу, у которого не было ни двора ни кола, а надменная девушка в ответ на слова о любви только еще выше подняла соболиные брови. Отвергнутый жених некоторое время начальствовал над княжеской сторожевой дружиной, а затем отправился в Константинополь, в надежде, что сердце неприступной русской девы, знавшей цену своей красоте и с большим достоинством носившей наряд препоясанной патрикианки, смягчится, если он прославит свое имя подвигами, достойными героя...

Ингигерда тяжело ворочалась на постели, и ее ставшее уже грузным тело утопало в жаркой лебяжьей перине. В ту ночь княгиня тоже не могла сомкнуть глаз. А рядом крепко спала Анна, уткнувшись лицом в розовую шелковую подушку. В углу горницы, на подостланной рогоже, глубоко дыша во сне, лежала служанка по имени Инга, пятнадцатилетняя девушка из северной страны, рабыня, готовая вскочить каждое мгновение с жесткого ложа и бежать, куда ее пошлют. Ингигерда часто поднимала ее среди ночи за хлебным питьем или за сладостями, от которых женское тело становится ленивым в движениях. Бедняжке приходилось тогда бегать в кладовую по темному переходу, где на полу лежали и сидели отроки, охранявшие ложницу старого князя. Они хватали Ингу за крепкие икры, а девушка отбивалась и напрягала все силы, чтобы не вскрикнуть. За нарушение тишины и недостойное поведение рабыню могли отослать на поварню и заставить до конца дней молоть пшеницу на ручных жерновах.

Когда благополучно закончилась война за Киев и солнце вновь взошло над Русской землей, Ингигерда перебралась из Ладоги на берег Днепра. Однажды Ярослав показывал молодой супруге свой каменный дворец, каких она никогда не видела, проводя молодость в скромных бревенчатых домах скандинавских ярлов. Дворец был построен еще при княгине Ольге, матери Святослава, которую книжники называли денницей, утренней зарей новой жизни. Пиршественную залу украшала живопись, и греческий художник изобразил на стенах не только христианские праздники, но и различные сцены охоты, корабли на море и пальмы. Ингигерде стало обидно, что ни у ее отца, ни у Олафа – а она все еще не могла забыть свою первую любовь – не было ничего подобного. Из гордости она сказала в ответ на хвастливые речи мужа:

– Та зала, где принимал гостей Олаф, хотя и устроена на деревянных столбах, но украшена приятнее и больше мне по вкусу.

– Такие слова обидны для меня! – нахмурившись, воскликнул Ярослав. – Они доказывают, что ты до сих пор думаешь о норвежском конунге.

В гневе князь даже замахнулся на жену, но, опомнившись, отвел руку. Это возмутило Ингигерду. Она прошептала:

– Между тобой и Олафом такая же разница, как между землей и небом.

Ингигерда долго помнила эту обиду, и Ярослав тоже любил ее без нежности, ревнуя к конунгу. Но время дарит забвение и залечивает сердечные раны, и княгиня рожала мужу одного за другим здоровых детей. Сначала появился на свет Владимир, потом Изяслав, Святослав, Всеволод и Вячеслав, и всем сыновьям были даны русские имена, а при крещении – греческие, о которых княжичи вспоминали только во время причастия, когда подходили с трепетом к митрополиту, державшему в немошных руках тяжкую золотую чашу. В те годы родились и три дочери: Елизавета, Анна и Анастасия. И вот дети подросли и стали взрослыми, и у каждого из них была теперь своя жизнь. Они говорили между собою о непонятных для матери вещах, но эта властная женщина, привыкшая на севере к другому укладу жизни, чем это житие с трогательными разговорами, считала, что назначение мужей – война и охота, а участь женского пола – деторождение. Между тем что она видела! Не расставался с книгой ни днем, ни ночью старый супруг, сыну Владимиру переписывал пророческие книги в Новгороде некий поп, по имени Упырь Лихой, странный человек, неизвестно откуда взявшийся и говоривший как жидовин; был полон книг дом Святослава; читает славянские и греческие книги Всеволод; и даже Анна, вместо того чтобы заниматься рукоделием или хозяйственными делами, как это надлежит делать каждой благонравной деве, проводит часы за книжным чтением, а потом смотрит куда-то вдаль ничего не видящими глазами и не отзывается на свое имя, когда мать зовет ее.

Ингигерда видела, что наступили иные времена. Теперь князья не стремятся на поля сражений, а предпочитают битвам беседы с греческим митрополитом или чтение Псалтири; люди не заботятся о том, чтобы убить возможно большее число врагов, захватить богатую добычу и продать ее с выгодой или разделить между товарищами по оружию, а помышляют о приобретении сел. Она сама слушала утрени и обедни, раздавала милостыню убогим и нищим, ибо так полагается поступать супруге конунга в христианской стране, но сердце ее было чуждо милосердия. Ведь под солнцем ни на один час не прекращалась борьба за власть и богатство, и каждый воин должен был думать о славе.

Ингигерда огорчалась при мысли, что ее сын Всеволод не наделен крепким здоровьем, не любит ездить на ловы, травит лишь жалких зайцев, а Изяслав не имеет склонности к воинским трудам. Только Святослав живет как воин: считает войну привычным делом, устраивает часто пиры. Книги не мешают ему радовать свое сердце охотой. Это он научил Анну гоняться за оленями, глубоко дышать лесным воздухом и проводить время с охотниками у костра, на огне которого жарят тушу убитого зверя. Пламенная, беспокойная душа дочери напоминала Ингигерде безвозвратно ушедшую молодость.

Но по ночам старую княгиню посещали страшные думы. Что ждет ее за гробом, ад или рай? Илларион грозил, что адский пламень неугасим, и она не раз созерцала в церкви картину Страшного суда: на ней праведники веселились, а грешников пожирал огромный зеленый сатана, и у него из розовой пасти вырывались желто-красное пламя и дым; другие крошечные человечки мучались в котле с кипящей смолой, некоторых пронзали трезубцами хвостатые черти. С наступлением утра детские страхи отлетали прочь...

Княгиня вспомнила, как супруг сказал ей однажды:

– Неужели ты не в состоянии постигнуть это?

– Не понимаю, о чем ты говоришь.

– Бог поручил мне Русскую землю, чтобы я и мои сыновья хранили все, что на ней. Ее процветание и нам с тобой на пользу.

Княгиня знала, что подобные мысли внушает мужу пресвитер Илларион, вышедший из черного народа.

– И смердов тебе поручил бог? – усмехнулась она.

– И смердов, и коней их, и крестьянские нивы и гумна.



Ингигерда мысленно пожимала плечами. Стоило ли сокрушаться и не спать ночи напролет по поводу смердов, которые не желают трудиться на своего князя и знатных дружинников, проливающих за них кровь?

Ее воспитывали по-иному. В ранней юности она принимала участие в деятельном труде, хозяйничая в оставленном на ее попечение доме, возясь с коровами и овцами. Судьба наделила ее смелым сердцем и сильными руками. Приходилось ей бывать и в опасных положениях. Порой она усердно помогала мужу, была его советчицей в трудную минуту, когда речь шла о житейских вещах.

Однажды варяги покинули Ярослава и отказались служить ему, недовольные тем, что конунг стал скуп на жалованье. Ярослав считал, что наемники уже не нужны ему, и равнодушно отнесся к их отъезду. Теперь он мог рассчитывать на русскую дружину и на ополчение, в рядах которого храбро сражались смерды, защищая от врагов государство и свое достоинство. Но одна из прислужниц Ингигерды, красивая и болтливая девушка из Упландии, была наложницей Эдмунда, и от нее княгиня узнала, что варяги собираются плыть в Полоцк, в тот самый город, который при некоторых обстоятельствах мог стать киевскому князю поперек дороги.

– Уверен ты, что тебе не придется и впредь столкнуться с Эдмундом в какой-нибудь битве? – спросила Ингигерда своего мужа.

Действительно, варяги уже снаряжали ладьи, названные именами любимых женщин или благородных птиц и зверей, готовясь к отплытию и намереваясь добраться по рекам и волокам до Полоцка, чтобы поступить на службу к Брячиславу, неоднократно проявлявшему непокорство воле киевского конунга.

Ярослав размышлял, получив неприятное известие. Эдмунд обманул его, уверяя, что вкладывает меч в ножны и возвращается в свой оставленный дом. Оказывается, он направлялся в Полоцк! Этот город легко мог стать соперником Киева. Оттуда рукой подать до Варяжского моря и удобно везти товары в Поморие и Скандинавию, минуя Новгород.

Он спросил жену:

– Может быть, еще не поздно вернуть Эдмунда?

– Попробуем перехитрить его.

– Но как это сделать?

– Позволь мне взяться за это.

– Хорошо, ведь они твои сородичи.

– Во всяком случае, они почитают меня и не опасаются, что им может грозить что-либо с моей стороны.

– Это ты хорошо надумала, – сказал Ярослав.

Ингигерда ошибалась, варяги считали ее способной на всякие козни, но она была милее им, чем этот вечно нахмуренный русский конунг, который рассчитывает на сто лет вперед, когда жизнь так коротка.

Между тем Ингигерда не мешкая спустилась со своим двоюродным братом Рагнвальдом, сыном Ульфа, с которым ее связывала прочная дружба, к варяжским ладьям. Она заметила, что Эдмунд сидел у реки на большом камне, вдали от своих, погруженный в глубокую задумчивость, может быть размышляя, не прогадал ли он, оставив конунга. Ингигерда поспешила к нему. По всему было видно, что ладьи с носами в виде птичьих клювов или звериных пастей готовы отчалить от берега, а воины уже заканчивали последние приготовления к отплытию. Однако под ногами в той части берега расползалась вязкая глина и мешала Ингигерде и Рагнвальду быстрее идти.

Только что начало светать. Эдмунд все так же продолжал сидеть на камне, и его дорожный плащ с тесемками вместо дорогой запонки напоминал о том, что он покидает Киев.

– Здравствуй, ярл, – сказала Ингигерда.

– Здравствуй, госпожа, – ответил Эдмунд, удивленный, что жена конунга спустилась в такой час к реке.

Ингигерда и Рагнвальд уселись рядом с варягом и повели лукавую беседу, притворно расспрашивая ярла, не передумал ли он и не хочет ли опять поступить на службу к Ярославу. Скандинавские воины суежились далеко у ладей, поблизости никого не было, кто мог бы рассказать, что здесь произошло.

Но скальды придумали потом, что Ингигерда пыталась с помощью Рагнвальда пленить Эдмунда, запутав его в складках плаща. На самом деле все представляется проще. Ярл увидел, что с высокого берега уже спускались русские воины, увязая в глине, чего не предвидела супруга конунга, и побежал к своим, оставив, как новый Иосиф, плащ в руках Ингигерды, и, воспользовавшись тем, что княжеские отроки были еще далеко, Эдмунд и его товарищи оттолкнули ладьи и уплыли на середину реки.

Рагнар спросил Эдмунда:

– Хочешь, мы вернемся и попытаемся захватить Ингигерду?

Но ярл понимал, что за такой поступок Ярослав найдет его на дне моря, и покачал головой:

– Не хочу нарушить дружбу с госпожой.

– А как поступила она с тобой?

– Женщины коварны от рождения. Коварство – их сила.

– Как знаешь, – сказал Рагнар. – Но откуда им стало известно, что мы отплываем в Полоцк?

– От Хелги.

– Разве она не возлюбленная твоя?

– Я обещал подарить ей золотое ожерелье.

– И не подарил?

– Проиграл его в кости Феодору, греческому патрикию, что привез Ярославу дары из Константинополя.

– Погубят тебя когда-нибудь кости, – рассмеялся Рагнар. – Или женщины...

Варяжские корабли уплыли в северном направлении. Ингигерда видела, как спутники Эдмунда поставили мачты и подняли паруса – четырехугольные, с огромными изображениями звезд, или трех поджарых львов, или птиц с коронами на голове. Потом издали донеслась песня:

Я поднял парус на ладье,  
Прощай, красавица, прощай,  
Навеки расстаемся мы...

Вот в каких предприятиях осмеливалась принимать участие Ингигерда, когда у нее еще было глубокое дыхание и она могла не хуже любого воина держать в руке боевую секиру. Но этой знатной женщине не доставало той широты ума, что позволяет охватить как бы орлиным взором все происходящее в мире: посевы и жатвы, круговорот золота в торговле и заботы о грядущих поколениях. Ее удивляло, что муж не ищет славы. Он говорил:

– Из пустого славословия не сошью даже шапку. А моя задача – наполнить богатством духовные житницы. За это меня будут прославлять в грядущие века певцы и книжники...

Сон не приходил к Ингигерде. Заложив руки за голову, она лежала, перебирая в памяти прошедшее. Рядом спокойно дышала Анна и не слышала даже, как мать позвала рабыню:

– Инга! Проснись!

Служанка вскочила со вздохом, в котором выразился весь ее детский страх перед строгой госпожой и усталость молодого тела, требовавшего отдыха после хлопотливого дня, полного трудов и суеты.

– Я здесь! Я здесь! – лепетала бедняжка спросонья, поправляя по привычке одежду, протирая кулачками глаза, чтобы они открылись.

На девушке белела рубашка из грубого полотна, поверх Инга носила синий сарафан, в котором и спала, никогда не раздеваясь, чтобы каждую минуту быть готовой выполнить любое приказание госпожи. Ничьи ноги не бегали так проворно по лестницам, она летала, как пушинка, из горницы в горницу, а госпожа считала, что Инга ленивица.

По племени своему рабыня была из какого-то северного края, на границе с Югрой, где люди объясняются знаками и за один железный нож дают кучу великолепных мехов. Ее еще девочкой привезли вместе с полонянками в Ладогу, когда новгородские воины умирляли в лесной глуши возмущение, поднятое волхвами против христианской веры. Эта черноволосая и белозубая девочка случайно попала на глаза Ингигерде, и она взяла ее к себе в услужение. С той поры маленькая Инга стала жить в киевском дворце, удивляя всех своим трудолюбием и проворством. Только старая княгиня была недовольна ею.

– Побеги в кладовую, – сказала Ингигерда, – и принеси горсть фиников. Ты знаешь, что это такое. Но не вздумай полакомиться чем-нибудь, или я накажу тебя.

Девушка бросилась вон из горницы. Проскользнув мимо сторожевых отроков, она побежала в дальний конец перехода, и вскоре ее босые ноги затопали по лестнице. Инга легко находила дорогу в дворцовых закоулках даже во мраке. В пахучей кладовой она знала каждую полку, каждый бочонок. Там хранились сладковатые, с блестящими семечками рожки, сушеные и нанизанные на мочалу смоквы, мед в деревянных кадушках, обыкновенные лесные орехи и те, что растут в греческой земле, и прочие сладости. Инга сняла с полки глиняную корчагу с финиками, которую нашла на ощупь, взяла полную горсть редкого лакомства, положила липкие плоды в деревянную миску и поспешила назад, едва удерживаясь от искушения съесть хотя бы один финик и испытать, в чем же заключается эта сладость, за которую платят так дорого. Она знала, что другая прислужница, по имени Предслава, часто брала всякое добро и ела, и, когда однажды Инга увидела это и затрепетала от страха, дерзкая прошептала:

– Им не съесть всего до самой смерти, а наша жизнь горька, как полынь.

Уже на обратном пути, пробегая переходом, Инга увидела при тусклом свете лампы, висевшей под потолком, что у двери княжеской ложницы стоит кучка людей. Кроме сторожевых отроков здесь еще появились дворский, толстый, как боров, воевода и ярл Филипп. На красавца в Киеве засматривались все женщины, от боярынь до простых рабынь.

Прижимаясь к стене, Инга старалась незаметно пройти мимо и слышала, как скопец, о котором рассказывали ужасно смешное и неправдоподобное, объяснял ярлу, очевидно поднявшемуся сюда позднее других:

– Гонец прискакал среди ночи. Послы прибыли на заставу.

– От кесаря? – спросил ярл, позевывая.

– От короля Франкской земли.

– От короля Франкской земли? – с тревогой переспросил Филипп.

– Это очень далеко, – неопределенно махнул рукой скопец. – За морями и за горами.

– Зачем приехали?

– Разве не знаешь? За Ярославной.

– Кто сказал?

– Гонец.

Инга успела рассмотреть, что на освещенном лампадой лице молодого ярла отразилось при этих словах изумление, потом оно стало печальным, как будто этот человек переживал горе. Но скопец уже стучал согнутым перстом в дверь княжеской опочивальни, и рабыня со всех ног кинулась в горницу, где ее с нетерпением ждала госпожа.

Рабыня протянула княгине финики, и та взяла один из плодов, которые привозили в Киев на горбатых животных, называемых вельблюдами, из далекой аравийской земли. Укладываясь

снова на свою жалкую подстилку, Инга сказала тихим голосом, чтобы не разбудить спящую Анну:

– Говорят, послы приехали.

– Какие послы? – поднялась княгиня, забывая даже о финиках. В голове у нее мелькнула мысль о сватовстве франкского короля. Об этом зимою принесли весть приезжие купцы.

– Не знаю, – замотала головой Инга. – Дворский сказал. Когда проходила мимо отроков, притаилась и слышала. Там был воевода и ярл Филипп стоял. Дворский ему говорил о послых.

– Что говорил?

– Говорил, что послы приехали за Ярославной.

Княгиня не могла больше выдержать и стала тормошить дочь за плечо. По сравнению с ее опухшими пальцами это обнаженное плечо олицетворяло девическую нежность. Вокруг жили неискушенные люди, а если бы глаза у них были более внимательными, такими, как у художника, который изобразил на обыкновенной доске трогательную богоматерь и ее страдание, они сравнили бы красоту Анны со статуей Афродиты, стоявшей на торжище. Иногда живописец втайне любовался этим мраморным видением. Но ему не суждено было увидеть Ярославну во всей ее прекрасной наготе.

Княжна открыла глаза. В опочивальне стоял мрак, и девушка не понимала, почему прервали ее сладкий сон. Она спросила:

– Почему ты разбудила меня? Печенегі напали на нас?

– Не печенегі напали. Важное случилось в твоей жизни.

Голова Анны снова клонилась на подушку. Но мать настаивала:

– Проснись же скорей!

– Скажи, что случилось?

– Послы приехали из далекого королевства.

– Из какого королевства?

Спросонок Ярославна плохо соображала, но, когда мать объяснила ей, что это сваты прибыли из франкского королевства, княжна проснулась окончательно, точно она не спала, и схватилась со вздохом за то место под маленькой грудью, где билось у нее сердце.

– Из франкского королевства?

– Инга слышала, как дворский Филиппу говорил.

– Филиппу?

При упоминании этого имени Ярославна села на постели и сжала руки.

– Ярлу Филиппу? – прошептала она.

– Что с тобой? – изумилась княгиня. – Разве ты не знаешь ярла Филиппа, начальника стражи?

Анна ничего ей не ответила.

– Что же ты молчишь?

– Что я могу сказать тебе, мать?

– Радуйся, ты будешь королевой!

Ингигерда, в крайнем нетерпении, уже поспешила босыми ногами к двери, которая вела в опочивальню мужа, чтобы из его уст услышать обо всем, что сообщил воевода.

Когда Анна поднялась с подругами на забрало Золотых ворот, чтобы наблюдать оттуда, как франкские послы будут въезжать в город, первое, что она увидела, взглянув вниз, был ярл Филипп. Красная шапка, голубой плащ...

Анна пыталась привлечь на себя его взгляд, но молодой воин не отрываясь смотрел на дорогу, над которой поднималось легкое облако пыли, и ей стало невыразимо грустно, что недогадливый не поднимет свои прекрасные глаза к забралу. Ярославне казалось, что никакими словами нельзя передать ее боль и печаль, и слезы стали застилать зрение.

Когда посольство въехало в ворота, Филипп повернул коня и поехал впереди, как бы показывая послам путь. Девушки перебежали на другую сторону башни, и перед ними, среди крыш, деревянных церквей и деревьев, заблестали вдаль золотые купола Софии. Ярл все так же горделиво ехал, ни разу не оглянувшись, и белый конь, покачивая крупом, мерно стегал себя жестким длинным хвостом. Слепца у ворот уже не было. Должно быть, отрок увел его на торжище, где они часто пели свои песни.

Анна родилась в Новгороде, в один из тех годов, когда Ярослав, опасаясь брата Мстислава, хоронился за крепкими бревенчатыми стенами гордого своим богатством города. Но когда был подписан братский мир, стало ясно, что Мстислав не добивается киевского княжения, и Ярослав перебрался со всей семьей и дружиной на берег Днепра. Анне было мало лет, и она едва помнила новгородские бревенчатые мостовые и выдолбленные из дерева трубы, по которым обильно лилась вода на княжеском дворе. Смутно запомнился шум на торговой площади, оживление на волховской пристани и теплый утренний звон белых и золотоглавых церквей.

Детские ее годы прошли в Вышгороде, среди прекрасных дубовых рощ, или в Берестове, любимом селении Ярослава, где он построил церковь во имя Апостолов. Там она училась вместе с братьями, Святославом и Всеволодом, у священника Иллариона и прочла первую книгу, которая называется Псалтирь. С такими книгами она не расставалась потом ни на один день, потому что в них были волнующие душу слова.

На всю жизнь запали ей страшные стихи детской азбуки:

Аз словом сим молюся Богу,  
Боже всея тверди и зиждителю  
Видимым и невидимым,  
Геенны меня избави вечныя,  
И грозы, и черви неусыпающа...

Илларион часто говорил о грехах, о милосердии, об адских муках. Но Анне совсем не хотелось думать о смерти и о гробовых червях. Жить было сладко. Она росла в холе и довольстве, дышала чистым воздухом, пила прозрачную воду, питалась здоровой пищей, в которой было много целительного русского меда и пшеничного хлеба, и ее вкус услаждали то грибы, то серебристая рыба, то упоительно пахнущая и собранная на пригретых солнцем лужайках земляника.

Порой ласковая рука отца ложилась на ее детскую голову, иногда порицали ее строгим взглядом холодные глаза матери. Запомнились долгие богослужения в святой Софии. Анне становилось жутко, когда священники закрывали ей грудь малиновым причастным платом и черный, как ночь, греческий епископ осторожно брал на ложечку немного вина и несколько крошек хлеба из тяжелой золотой чаши и давал ей проглотить, шепча молитву на непонятном языке. Илларион объяснял ей, что это не вино и не хлеб, а кровь и плоть Христа, и все было так странно и непонятно, что она радовалась, когда покидала храм и вновь видела над головой сияющее солнце.

Юность Анны тоже была связана с Вышгородом. Брат Всеволод говорил ей, что об этом городе даже упоминал в каком-то сочинении греческий царь, а Илларион называл Вышгород святым, честным и блаженным. Но этот книжник плохо разбирался в земных делах, и его мало интересовала вещественная жизнь, а у Ярослава в Вышгороде находилось большое княжеское хозяйство, стояли многочисленные житницы и медуши, погреба и голубицы, и под бревенчатыми городскими стенами широко раскинулись огороды с яблонями и пахучие капустники, полные белых бабочек.

Когда Анна подросла, князья стали брать ее с собой на охоту, и она научилась ездить верхом, но во время ловов князю привлекала не столько богатая добыча и охотничья удача, сколько переживания, что вызывают и сердце захватывающее преследование зверя или погоня за оленем, когда ветер шумит в ушах, дубовые ветки хлещут по лицу и хочется всей грудью вдыхать осенний воздух, полный грибных запахов и тления вянущей листвы. Весной дубраву наполняли другие ароматы, и среди них Ярославна ничего не знала более прекрасного и упоительного, чем благоухание ландышей, которое напоминает девушкам о счастье.

Анна стала ловкой наездницей, полюбила коней и охотничьих соколов. У нее были длинные ноги и маленькие груди, и однажды приезжий грек, царедворец, надушенный, как женщина, патрикий, глядя на возвращавшуюся с лова Анну, сказал, красиво разводя руками:

– Артемида!

Она услышала это слово и потом спросила у Всеволода, знавшего все написанное в книгах, что оно означает. Брат объяснил, что так называли древнюю греческую богиню охот.

Но как эти благородные забавы, восхищение иноземцев и ожидание необыкновенного счастья не были похожи на унылые школьные стихи:

Геенны меня избави вечныя,  
И грозы, и черви неусыпающа...

Выезжая в поле, Анна забывала обо всем, даже о книгах. Она запрокидывала голову, с увлечением следя за полетом сокола, настигавшего в далекой синеве ширококрылую лебедицу, и рыжие волосы Ярославны принимали на солнце блеск полноценного красного золота. Сердце начинало учащенно биться. В нем просыпалась жестокость предков, воинов и охотников, не знавших пощады ни к врагу на поле сражения, ни к зверю во время лова. Но вокруг сладостно пахло дубовыми листьями, грудь наполняло глубокое дыхание, и в душе рождалось смешанное чувство, в котором выражалась радость жизни и сострадание к прекрасной растерзанной птице.

Осенью в оврагах поспевали красные ягоды рябины. Когда охотники возвращались домой, с пажитей летели липкие паутинки, радужные в лучах заходящего солнца, и слышалось, как на гумнах соседнего селения смерды мерно ударяли цепями, молотя ячмень. Было сладко и в то же время грустно жить на земле. Но таилась в душе Анны и гордыня. Разве не принадлежала она к роду, который вел свое начало от героев? Разве не из ее семьи явились мученики, стоявшие у престола всевышнего? А Илларион говорил при всяком удобном случае о ложном благополучии сего мира и о тщете человеческого существования...

Анне немало пришлось пережить под кровлей родительского дома, но ее еще не было на земле, когда Русь потрясли страшные события междоусобной войны и произошло вероломное убийство Бориса и Глеба. Княжичей объявили Христовыми мучениками, во имя их стали строить церкви, и даже в константинопольских церквях убиенных изображали на иконах с поднятыми горе глазами, хотя патриарх с неудовольствием утвердил новоявленных святых. Однако Ярославу хотелось, чтобы в сонме небесных угодников находилось хотя бы несколько мучеников, говоривших по-русски. Впрочем, князь Святослав Владимирович, убитый при таких же обстоятельствах, не удостоился подобной чести, может быть потому, что его христианство находилось под великим сомнением.

Анна знала об этих событиях только по рассказам старших. Семья собиралась в зимние вечера у очага, и, глядя на огонь, люди вспоминали прошлое. Но Анне было уже двенадцать лет, когда к Киеву подступили печенеги, и ей на всю жизнь запомнилось, как горожане переругивались на стенах с врагами и грозили им секирами. Под валами кружили тысячи кочевников. Они стреляли в русских, и стрелы летели, как туча, затемняя солнце, но по большей части втыкались в частоколы без всякого вреда и потом наполняли колчаны княжеских отроков.

Далеко на другом берегу Днепра пылили степные дороги и ржали мохнатые печенежские кобылицы. То двигались на Русь новые орды, ханы спешили в скрипучих повозках за добычей. С башен было видно, что там, где небо сходилась с землею, поднимались черные столбы дыма. Это горели селения хлебопашцев. Они стекались со своих пепелищ под защиту городских укреплений и в справедливом гневе рассказывали о постигшем их несчастье. Подобные слова накаляли воздух. На валу стоял гул взволнованных человеческих голосов, и в этом сплошном шуме от криков, ржания коней, скрипа колес и верблюжьего рева люди с трудом слышали друг друга.

Косматый монах, стоявший на стене, кричал, указывая перстом на печенегов:

– Злодеи! Исчадие ада! Будете вы ввержены, как плевелы, в огненную печь!

Отец казался Анне величественным в своей железной кольчуге, в сияющем шлеме. Он грузно сидел в седле под голубым шелковым стягом, и конь не слушался поводьев. День был бурный, на знаменном полотнище трепетал архангел с желто-красным огненным мечом в руке. Под крышами бревенчатых башен завывал ветер. Анна прижималась к матери, вышедшей на крыльцо, чтобы проводить князя на битву, но душа девочки сторала от любопытства к тому, что происходит в городе и за его стенами, и совсем не испытывала страха.

Дождавшись часа, когда распаленные жадностью печенеги с воем бросились на городские валы, киевляне отворили дубовые ворота и вышли с мечами и секирами на широкое поле. Началась сеча, молчаливая и беспощадная. Из окна высокого терема виднелась часть равнины, на которой происходило сражение, и Анна могла рассмотреть, как над русским полком показывается голубое знамя. Там сражался ее отец. Даже на княжеский двор доносился гул далекой битвы.

На валах, укрепленных частоколом, стояли женщины в серебряных монистах и смотрели на сечу, в которой рубились их мужья и сыны. А когда солнце стало склоняться к западу, непривычные к долгим сражениям в пешем порядке печенеги не выдержали и побежали, и русские воины далеко гнали их в степь. Многих они изрубили секирами, других потопили в реке Сетомле или взяли в плен. Уже в полночной темноте Ярослав вернулся в город, в котором в ту ночь никто не спал. Воины несли убитых товарищей, и женщины встречали их с плачем, а некоторые бежали в поле и там искали трупы близких.

Анна не раз видела сборы братьев в полудне, когда они надевали теплые бобровые шубы и уезжали за данью, кто – в Деревя, кто – в Муром, кто – к вятичам. А однажды русское войско уплыло на ладьях в греческие пределы, в синее море, на страшные медные трубы, что выхаживают огонь, горящий, как адский пламень, даже на воде.

В те полные событий годы навеки уходила простая жизнь, когда князь и рядовой воин жили как братья, спали в походе под одной овчиной, ели мясо от одного вепря и одинаково думали о том, что происходит в мире; в любой час дня и ночи каждый мог войти в княжеские хоромы и просить суда. Теперь у ворот дворца стояли вооруженные и легкие на издевку отроки, и князя стало так же трудно увидеть, как солнце в дождливую погоду за облаками. Его окружали теперь разодетые пышно бояре, епископы, дворские, мечники и вирники. В Киеве появилось много людей, каких раньше никто не видел на его улицах, – монахи и свечегасы, писцы и учителя церковного пения. На глазах у Анны все чаще появлялись в родительском доме не виданные раньше вещи – мыло, издающее приятный запах, золотая и серебряная посуда, книги, чернила, свечи, пергамент, лекарственные снадобья, сладкое греческое вино. Мир, лежащий за пределами Русской земли, уже не казался таким неведомым, как прежде, и многие из тех людей, которых ежедневно видела Анна, успели побывать в Константинополе и даже в Иерусалиме.

Событием в жизни Анны было каждое посещение святой Софии. Княжеская семья слушала обедню в кафизме. Так называлось устроенное наверху по образцу константинопольской Софии помещение, забранное решеткой и закрытое пурпуровой завесой. Ярославна смотрела

отсюда украдкой на стоявших в церкви людей. Внизу молился простой народ. Но впереди обычно занимали места богатые люди с женами в золотых ожерельях. Они приходили в церковь, чтобы показывать людям свои наряды, приобретенные у греческих купцов.

Анна часто наблюдала, как внук приводил к вечерне седоусого воеводу Вышату, ослепленного царем во время неудачного похода за море. Рядом с ним некогда стоял певец Боян. Сюда приходили румяные новгородские торговцы и приезжие греки в красных плащах. Потом для знатных устроили по их просьбе особую галерею, чтобы они могли молиться богу, не смешиваясь с чернью.

Однажды, отведя рукой шелковую завесу и бросив по обыкновению любопытный взгляд туда, где стояли молящиеся, Анна увидела незнакомого воина. Его волосы цвета спелой пшеницы, по скандинавскому обычаю, падали ему на плечи длинными локонами: так носили их молодые ярлы или северные скальды. Можно было догадаться, что это знатный человек, стоявший даже в храме с гордо поднятой головой. На нем был красивый голубой плащ, из-под которого виднелись желтые сапоги. Анна не могла видеть лица воина, обращенного туда, где находился алтарь, но как бы предчувствовала его красоту, угадывала в девических мыслях, что под широким плащом незнакомец строен, как те пальмы, с которыми сравнивают воинов в книгах. Это было все, что она рассмотрела из кафизмы, но ее сердце почему-то забилося тревожно, как голубка, неожиданно попавшая в сети птицелова. А между тем в ту весну ноги Анны красиво округлились, наметились под полотном рубашки маленькие груди, и она томилась в лунные ночи, сама не зная, почему...

Мать и Гертруда, жена брата Изяслава, и Мария, жена Всеволода, вместе с Елизаветой и Анастасией сидели на обитой золотой парчою скамье, устроенной вдоль стены, так как на клиросе читались бесконечные часы и по церковным правилам в это время разрешалось отдыхать от стояния. Поэтому никто из близких не видел, на кого смотрела Анна с таким вниманием. Только немного спустя, может быть для того, чтобы лучше слышать чтение, к завесе бесшумно, как кошка, подошел в мягких сапогах брат Всеволод. По его лицу было видно, что он погружен в благочестивые мысли. Молодой князь стоял с закрытыми глазами и слушал унылые слова о смерти и тщете человеческого существования. Потом просветлел лицом и, оторвавшись от своих горестных размышлений, вынул из-за пояса синий шелковый платок и стал вытирать влажный лоб. Анна знала этот платок: на нем привлекало взор золотое солнце, окруженное красными пылающими языками. Она шепотом спросила у брата:

– Кто этот воин, что стоит там, около слепого Вышаты?

Всеволод, с неохотой спускаясь из благолепия молитвенных помыслов, переспросил:

– В голубом плаще?

– В голубом плаще.

– Ярл Филипп.

– Откуда он прибыл к нам?

– Из-за моря. А ныне отправляется с Гаральдом в Царьград.

Чтение долгих часов окончилось. Все поднялись со скамьи. По другую сторону от Анны молился брат Изяслав, высокий человек с широко расставленными большими глазами, но с угнетенным выражением лица, точно он ежечасно ждал и опасался ударов судьбы, и рядом с ним другой брат, Святослав. Это был щеголь, любитель хорошо переписанных книг и всяких драгоценностей, статный воин. На нем и в тот день был обычный его наряд: синий плащ на красной подкладке, малинового цвета рубаха, черные штаны. Блюдя древний обычай, князь носил не бороду, а длинные усы. Святослав почитал просвещенных людей и беседовал с греками на философские темы, но любил также веселые пиры и охоту. Он отличался громкоговорным голосом, рычал, как лев, когда какой-нибудь игумен осмеливался порицать его греховное времяпрепровождение, рвал в гнев обличительные эпистолии и топтал их зелеными сапогами, украшенными жемчугом.



Старшего брата, Владимира, в Киеве не было, он сидел посадником в Новгороде. Вячеслав в те дни охранял с дружиной пороги. Отец тоже находился в отъезде – строил города на реке Роси.

Анне хотелось еще многое узнать о красивом скандинаве, но разговор пришлось прекратить, потому что наступило время совершения таинства. Алтарь отделялся от молящихся только мраморной оградой, и Ярославна могла видеть, как священники, взявшись за углы малинового плата, который назывался «воздухом», поднимали и опускали его над золотой чашей. Это походило на волшебство, и девушке становилось жутко. Вся жизнь теперь наполнялась фимиамом, церковным пением, молитвами.

Анна снова взглянула вниз, но молодой ярл исчез, – очевидно, ему наскучило стоять в церкви. Ярославне стало грустно... А снизу, с амвона, как из тумана, доносился глуховатый, но торжественный голос Иллариона. Пресвитер не упускал ни единого случая, чтобы наставлять людей в христианских добродетелях, хотя это было весьма нелегким предприятием: богатые погрязли в грехах, бедные не хотели забыть языческих богов.

Но Анне показалось, что слова Иллариона обращены к ней, и она прислушалась. Священник зывал:

– Не хвались своим происхождением, благородный! Не говори: отец у меня боярин, братья мои – Христовы мученики, а мать знатного рода. Сказано: овцы пойдут одесную, а козлища ошуюю, ибо коза не приносит доброго плода, овца же творит волну и все потребное для человека...

Анна заметила, что при этих словах Святослав дернул в гнев ус и сказал Изяславу:

– Уже довольно мне этих упреков. Я не монах, чтобы жить в смирении. Как ты полагаешь?

На лице Изяслава ничего не отразилось. Тихий Всеволод сокрушенно вздохнул. Оглянувшись на мгновение, Анна увидела, что мать с каменным лицом смотрит прямо перед собой, а Мария, жена Всеволода, улыбается неизменно счастливой улыбкой и шепотом переговаривается о чем-то с сияющей красотой Елизаветой.

Как опытный оратор, Илларион возвысил голос в том месте, где это требовалось по правилам риторики:

– И дуб высок величием своим и прекрасен лиственным, но без полезного плода для человека, ибо желуди потребны лишь для свиней, а малый злак, едва видимый на земле, родит нам зерно. Это – сильные мира сего, если они не творят добрых дел, и трудящиеся в поте лица...

Святослав опять с раздражением посмотрел на Изяслава, и под тонкой кожей у него заходили на щеках желваки. Но брат по-прежнему уныло смотрел перед собою, точно не понимал немого вопроса.

Илларион вздымал руки в патетическом жесте, будто перед ним стояли не простые воины и простодушные горожане, а воспитанники риторских школ. Этот русский книжник бывал в Константинополе, посещал училище при церкви Сорока Мучеников, встречался со знаменитым греческим писателем Михаилом Пселлом. Он громил богатых и возгордившихся:

– Были двое возниц, мытарь и фарисей. Последний запряг двух скакунов – добродетель и гордость, но гордыня помешала добродетели, колесница его разбилась, и сам он погиб. Мытарь запряг других коней – свои грешные дела и смирение – и не отчаяние получил, а спасение...

Илларион вспоминал, может быть, в эти минуты константинопольский Ипподром, где однажды на его глазах разбился насмерть возница. Святослав цедил сквозь зубы в княжеском высокомерии:

– Смирение! Смирение!

Анне эти слова священника тоже казались досадными. Она нахмурила соболиные брови, точно не понимая, чего от нее требуют. Кто может отнять у нее право хвалиться своим происхождением, родством с греческими царями? Впрочем, все было смутно в тот день в ее душе. Илларион жаловался:

– О богатый, ты зажег свечу на светиле! Но придет обиженная тобой вдовица, вздохнет и вздохом своим погасит свечу...

Бедная вдовица!

На сердце у Анны пели жаворонки, она испытывала благожелательство ко всему миру. Но странно... Ей казалось, что это чувство родили не выпренные слова Иллариона, а красота воина, что стоял в церкви. Пусть все люди живут в радости!

Молодого ярла в голубом плаще уже не было внизу, а где-то в таинственных глубинах женского сердца рождалась любовь, древняя, как пробуждение природы, как вешняя гроза, когда Перун мечет молнии и потрясает небеса громом, орошает землю теплым дождем и она вздыхает о жатве...

## 4

Гаральд и Филипп и многие другие варяжские воины уплыли в Царьград. Вскоре после этого Анну сватали за немецкого кесаря, но в жизни ее не произошло никаких перемен, и она часто вспоминала молодого ярла в голубом плаще. Однако годы текут, как вода, и в один прекрасный день Гаральд возвратился с богатой добычей и победой в Киев. Вместе с ним вернулся Филипп. В честь их приезда в княжеской гриднице был устроен пир.

Гаральд, сын Сигурда Сира, брат Олафа, по прозвищу Смелый, поэт и воин, сражался с пятнадцати лет, и его жизнь была полна приключений. Но в ней не случилось ничего примечательного, пока он не встретил Елизавету. С тех пор не было на всем пространстве от варяжских фиордов до счастливой Сицилии ни одного знатного воина, ни одного скальда, который не знал бы, что молодой герой влюблен в дочь русского конунга, отвергшую его любовь. В крайнем огорчении Гаральд отправился в Константинополь и поступил на императорскую службу, чтобы снискать себе воинскую славу или погибнуть на поле сражения. Так пели о нем скальды, ибо иначе песни их не были бы достойны внимания слушателей. Им полагалось воспевать только высокие чувства – пламенную любовь и готовность ее заслужить, мужество и верность до гроба.

Гаральд водил корабли в Эгейское море, сражался с сарацинами на берегах Евфрата и под Мирами Ликийскими, принимал участие в походе протоспафария Текнея в Нильскую долину, а также в военных действиях в солнечной Сицилии, под начальством прославленного полководца Георгия Маниака. За эту войну Гаральд получил от императора почетное звание спафарокандидата. В Сицилии он встретился с патрикием Кевкаменом Катакалоном, который впоследствии был послан на Русь. Когда императору удалось установить длительное перемирие с египетским халифом, владевшим тогда Палестиной, по совету Катакалона, Гаральда послали с многочисленными рабочими в Иерусалим для восстановления храма Христа. Но по возвращении в Константинополь он был обвинен в сокрытии военной добычи и заключен в темницу.

В Киеве утайка от греческого царя сокровищ, захваченных у врагов, не могла рассматриваться как особенно тяжкое преступление, и когда Гаральду во время трагических событий, связанных с ослеплением Михаила Калафата, удалось покинуть Константинополь и вернуться в город, где жила гордая Елизавета, его встретили там с почетом и пиршество в его честь устроили на скандинавский лад. Пол обильно посыпали соломой, но залу осветили уже не древними смолистыми факелами, наполнявшими некогда помещение дымом и копотью, а восковыми свечами. Они горели в трех паникадилах, как три солнца висевших под потолком. Чтобы капли расплавленного воска не падали на сидящих за столами и не обжигали нежных красавиц, свечи были вставлены в серебряные чашечки, сделанные в виде раскрывшихся райских цветов. Это было чудо сереброкузнечной работы, и ее выполнил знаменитый в те дни киевский художник, имя которого затерялось, к сожалению, во мраке времен.

На пир позвали только самых знатных людей и самых богатых чужестранцев. По примеру царского константинопольского дворца, пиршественные столы, как некие церковные престолы, были покрыты драгоценными парчовыми скатертями и уставлены серебряной посудой.

Анне исполнилось тогда восемнадцать лет, и в тот день она впервые приняла участие в пире, рядом с сестрой Елизаветой. А еще не отошел в область предания древний северный обычай, когда женщины сидели за столом попарно с мужчинами и воин пил вино из одной чаши с соседкой, если он был мил ее сердцу, хотя греческие епископы и боролись всячески с такой распущенностью, требуя, чтобы на трапезах читались жития святых, а не распевались грешные песни о прелюбодеяниях и пролитии человеческой крови.

Ярослав избегал ссориться с митрополитом и побаивался суровых обличений Иллариона, но на этот раз князя удалось убедить устроить празднество так, как это делалось в дни Святослава и великого Владимира, когда на Руси еще не было ни церквей, ни фимиамного дыма.

Анну облачили на пиршество в греческий наряд, привезенный из Константинополя, и сама Мария учила ее, как надо приподнимать подол длинной одежды, чтобы она не мешала ногам при ходьбе или на ступеньках высоких лестниц. Щеки Анны впервые нарумянили, а косы уложили вокруг головы и украсили ниткой жемчуга. Когда девушка в смущении появилась в шумной гриднице, какой-то седоусый дружинник воскликнул:

– Ярославна, ты как утренняя заря!

За столами надменно сидели знатные люди, которых Анна часто видела в церкви: Никифор, Перенег, Чудин, Братислав, тучный воевода Микула из Новгорода. Гаральда посадили рядом с Елизаветой. Всеволод, как всегда, не разлучался с супругой. Мария, по своему обыкновению улыбаясь и шуря глаза, переводила любопытные взоры с одного гостя на другого, а он пожимал ей украдкой под столом маленькую горячую руку. Возле Ярослава тяжело опустилась на скамью его величественная супруга, которую Илларион в проповедях называл благоверной. Впрочем, так неизменно называли всех греческих цариц, даже прелюбодеек и отравительниц. По лицу княгини люди могли судить, что ее уже не занимают подобные собрания.

Но все были полны веселия, шумно усаживались за столы. Только Ярослав хмурился, поглощенный важными мыслями. Для него этот праздник и предстоящий брак дочери являлись государственными делами. Немного огорчали расходы, связанные с устройством празднества, однако пиры и женские прелести иногда могут сделать больше для укрепления мира, чем мужской ум, золото, тысячи воинов, закованных в железо. Ярослав с гордостью посмотрел на Елизавету. Ей шел двадцатый год, красота ее была в полном расцвете. Так стоит весной белорозовая яблоня в ожидании золотых пчел. На нежной шее у дочери блистало тяжелое ожерелье, привезенное Гаральдом из Царьграда. Ярл уверял, что его носила императрица Зоя. Как оно могло попасть ему в руки? Но пусть будет так, и никто не посмеет подумать, что сподвижник Олафа похитил эту драгоценную вещь.

С пылающим лицом, опустив ресницы, рядом с Елизаветой сидела Анна. Девушку волновало, что возле нее случайно оказался человек, которого она некогда увидела из кафизмы, и теперь в ее чистом и доверчивом сердце вновь вспыхнули волнующие чувства. Анне в голову не приходило, что за эти два года молодой ярл держал в своих объятиях продажных распутниц и неверных жен.

Ярл Филипп мог выгодно жениться на любой богатой константинопольской вдове и даже на дочери самого логофета, которую однажды ему пришлось переносить через ручей, когда обрушился каменный мост на дороге во Влахернский монастырь. Девица прижималась к воину и не сводила с него глаз. Но, увы, была худощава и длинноноса. Одним словом, ярл ни на ком не женился, хотя ему уже стукнуло двадцать восемь лет. За эти годы Филипп никого не полюбил, сердце его осталось свободным, и Анна могла стать его царицей, если бы пожелала, а она не смела поднять взора на соседа, чувствуя всем существом своим, что рядом с нею сидит человек, о красоте которого шепотом переговариваются женщины за столом. Наконец, чуть скосив

глаза, Ярославна увидела снившееся ей порой лицо, все такие же золотистые локоны, как бы в беспорядке упавшие на плечи зеленой рубахи. Ярл возмужал, у него резче стали выступать сильные скулы и более четко обрисовался крепкий бритый подбородок. Светлые усы падали вниз.

Филипп тоже бросал украдкой взгляды на княжну. Впрочем, он знал суровый характер Ярослава и не решался заговорить с Анной, а она молчала. Ярлу очень хотелось сделаться воеводой охранной дружины в Киеве, что дало бы ему много денег, села, рабов. Но неудовольствие киевского конунга можно было вызвать одним неосторожным словом.

Ярослав, его сыновья и многие гости сидели на пиру в красивых русских рубахах – красных, голубых, синих – с золотыми или серебряными оплечьями, а другие дружинники, по старому обычаю, – в белых. Замужние женщины пришли в шелковых убрусах, в парчовых сарафанах, красуясь дорогими ожерельями. Все это были румяные, белозубые красавицы, и только у некоторых славянская белизна уже смешалась со степной смугловатостью; у таких глаза стали чуть кошенными, казались лукавыми, и эти женщины особенно нравились северным ярлам...

Гаральд не спускал влюбленных глаз с Елизаветы, и по ее улыбке можно было предполагать, что на этот раз она не отвергнет его любовь. Всем сделалось известным, что в ближайшее время ярл отправлялся в сопровождении многочисленных воинов завоевывать принадлежащий ему по праву норвежский трон.

Гости ели мясо, в изобилии лежавшее на столе, и вытирали руки о расшитые полотенца, которые им подавал проворный отрок, а когда насытились и утолили жажду медом, стали разговорчивее. Только Ярослав все так же грустно-снисходительно оглядывал сидевших за столом людей, легко забывающих во время пиршества о том, о чем надлежит помышлять христианину. Ингигерда по-прежнему сжимала властные губы. Всеволод, отпив половину вина из чаши, угощал супругу и влюбленно смотрел на нее. Глаза Марии стали еще таинственнее и темнее от блистания восковых свеч. По другую сторону от молодого князя сидели Гаральд и Елизавета, а за ними Анна и Филипп. Это был стол конунга, полный яств. Напротив находились Изяслав и Гертруда. Святослав и Ода, пресвитер Илларион, а рядом с ним – поп Иван из церкви, построенной в Чернигове Святославом, беспутный человек, но тоже великий книжник.

Филипп много пил, и вино разогрело даже его холодное сердце: вдруг у него проснулась нежность к этой прекрасной деве с рыжими косами. Но Анна ни разу не подняла на него глаза, боясь осуждения матери, сидевшей поблизости, а он думал, что дочь конунга не удостаивает его своим вниманием, и пил чашу за чашей.

Ярослава интересовали события, которые произошли в последние годы в Царьграде, и Гаральд рассказывал ему со всеми подробностями о том, как один царь сменял в Священном дворце другого царя. По словам ярла, он лично принимал участие в этих кровавых событиях, и слушать его было занимательно.

Держа обеими руками прохладную серебряную чашу, Гаральд осушил ее и тотчас протянул отроку, чтобы тот снова наполнил сосуд вином. В Константинополе ярл тоже стал носить небольшую бороду, хотя и оставил длинные усы. На бритье подбородков в Священном дворце косились, считая это варварским обычаем, недостойным христиан. Но ношение бороды или безбородые лица – это только вопрос переменчивой моды: сам великий Константин был брит, как цирковой плясун.

– Что же случилось тогда в царском дворце? – торопил рассказчика Ярослав.

– Послушай мою повесть, конунг! Обо всем расскажу по порядку. Ведь я наблюдал это своими собственными глазами и видел, как царь Роман лежал на смертном одре, в последний раз облаченный в пурпур. Лицо у него было распухшее и почерневшее. Дворцовые служители рассказывали мне шепотом, что он утонул в бане. Но люди не тонут в купели без особой причины. Я много другого слышал во дворце, отчего волосы становятся дыбом даже у смелого человека. Преемником Романа был Михаил, любовник царицы Зои. Он еще продолжал разыг-

рывать из себя влюбленного, пока толпы народа не встретили его приветствиями на Ипподроме как нового императора, но, добившись того, к чему стремился, честолюбец показал себя во всей своей низости. Впрочем, спустя непродолжительное время умер и Михаил, и на престол вззошел его племянник. Об этом царе ходили недобрые слухи. Его прозвали Калафатом. Так по-гречески называют на пристанях тех людей, что смолят корабли. Тогда я был этериархом. Под моим начальствованием служил ярл Филипп, и он поправит меня, если я в чем-нибудь буду не совсем точным.

Молодой ярл закивал в знак согласия. Филипп благоговел перед своим удачливым начальником.

– Новый василевс, – продолжал Гаральд, – возненавидел Зою, не знаю, за что, и обвинил царицу в попытке отравить его. Госпожу сослали, как преступницу, в сопровождении одной только служанки, на отдаленный остров, где заточили в монастырь, и по повелению императора ей остригли волосы. Помнишь, Филипп? Они еще и тогда казались золотыми. Как у тебя, милая Елизавета!

О, сколь приятно было слушать такого любезного рассказчика!

Сидевший за дальним столом седоусый варяг, верный сподвижник Гаральда, рассказывал своим соседям:

– Это было на Ипподроме... Но еще до того, как свергли Зою. Мы смотрели на представление. На арене плясали ученые медведи. Трудно придумать что-либо забавнее этого зрелища. Они поднимали то одну лапу, то другую и потом приседали, ударяя в бубен... В это время мимо нас прошла царица, почему-то покидавшая праздник. Откуда мне это знать! Может быть, у нее заболел живот? И что же? Увидев еще раз длинные волосы Гаральда, она заявила, что хотела бы получить прядь на память о таком знаменитом воине...

Рассказчик прыснул со смеху и закрыл рот рукой.

– А Гаральд? Как же он поступил тогда? – спрашивали слушатели.

– А он...

Седоусый не мог продолжать от душившего его смеха.

– А он...

– Что же он ответил?

– Мы все выпили изрядно вина... Гаральд ответил... Ха-ха!

Должно быть, это была какая-нибудь очень грубая шутка, потому что воины, сидевшие за столом, разразились громовым хохотом.

Ярослав взглянул в ту сторону, и смех мало-помалу прекратился.

Впрочем, ненадолго. В гриднице делалось все шумнее и шумнее. Мед развязывал языки.

– И что же? – спросил опять старый князь.

Гаральд, разглаживая светлые усы, смотрел куда-то себе под ноги...

– Мне привелось присутствовать при отплытии корабля, так как во дворце опасались народного возмущения, и нам приказали, чтобы мы охраняли доступ к морю. Императрица поднялась на корабль, протянула руки к видневшемуся за кипарисами дворцу и промолвила сквозь рыдания: «Мою главу еще в колыбели украсили знаками царственного достоинства, меня некогда держал на коленях великий Василий, и я надеялась, что буду жить для счастья. Но увы, ошиблась. И теперь страшусь людей и моря». И другие слова говорила. Помнишь, Филипп?

– Она говорила, что живой ложится в гроб, – подхватил Филипп. – В тот день мы испытывали немало волнений. Народные толпы бушевали и готовы были ворваться во дворец и все предать огню. Мы едва сдерживали их напор...

– А царица надула губы, точно избалованный ребенок, – прибавил Гаральд.

Анна тоже слушала с большим вниманием рассказ о царьградских событиях. Судьба этой женщины не могла не взволновать ее. А Гаральд, в приподнятом настроении, чувствуя, что на

него обращены взоры всех присутствующих, вдохновенно описывал сцены дворцового переворота.

– Но Зоя была любимицей народа. В Константинополе вспыхнул мятеж. Все были в отчаянье, что императрица томится в изгнании, и проливали слезы. Даже простые ремесленники и корабельщики. Особенно негодовали женщины. Они вопили на улицах: «Где-то она теперь, единственная благородная душа в стане злодеев?»

Ярослав усмехнулся в бороду:

– Я слышал другое.

– Да, Зоя была способна на все. Слепляла, не очень-то разбираясь, кто прав, кто виноват. И все-таки чернь любила ее. Мне передавал об этом некий патрикий Катакалон. Мы с ним вместе воевали в Сицилии. И еще я слышал кое-что от одного царедворца. Его имя – Михаил Пселл. Так что все, что я рассказываю, вполне соответствует истине.

– Тебе приходилось встречаться с Михаилом Пселлом? – удивился Илларион, смущавшийся немало на этом собрании вельмож, которых он часто обличал в греховном поведении.

– Я имел случай беседовать с протоспафарием, – не без удовольствия произнес трудный титул Гаральд, довольно знавший греческий язык, чтобы объясняться не только с простыми воинами, но и с придворными чинами. – Но позволь, конунг, продолжать повествование. Итак, Зоя уплыла на корабле в изгнание, и тогда в столице возмутился народ. Дома многих советников царя были разграблены. Филипп хорошо помнит эти беспорядки.

Молодой ярл кивнул головой, и Анна позавидовала варягам, испытавшим столько приключений, видевшим Царьград и Иерусалим и этот, похожий на сон, остров Сицилию, о котором Гаральд рассказывал Елизавете.

Филипп добавил, может быть желая обратить на себя внимание Ярославны:

– В тот день мои воины стояли на страже в Священном дворце. Он был пуст, все разбежались. Император спрятался в своей опочивальне и дрожал от страха. Я хотел...

Но Ярослав желал слушать Гаральда. Не подобает молодым перебивать старших, и князь приказал:

– Продолжай, Гаральд!

Филипп умолк. Он привык к повиновению, однако на лице у него выступили красные пятна. Гаральд продолжал прерванный рассказ:

– Помню, что в тот день был понедельник. Я вышел из дворцовых ворот посмотреть, что же происходит на улицах. Вижу, мимо скачет на коне знакомый протоспафарий. Тот самый Михаил Пселл, о котором я упоминал...

Илларион знал Михаила Пселла по его писаниям и даже два или три раза слышал, как знаменитый писатель говорил в их школе о риторических красотах Демосфена.

– Я окликнул его, и протоспафарий остановил коня. Я спросил, куда он стремится с такой поспешностью, и Михаил ответил, что на Ипподроме бушуют толпы и он хочет увидеть все воочию, чтобы потом описать события в своей хронике. И ускакал. Когда же я вернулся в притихший дворец, мне сказали, что к императору прибыл через потайную дверь его дядя Константин, по рассказам мужественный человек. Позднее мне представился случай убедиться в этом. По совету магистра Зою немедленно вернули из монастыря в Константинополь и показали на Ипподроме живой и невредимой народу. Я близко видел царицу. Бедняжка дрожала от страха. Однако послушайте, что произошло дальше. Ее появление еще больше распалило гнев людей. Мятежники вообразили, что между ненавистным Калафатом и Зоей произошел сговор, и отвернулись от любимицы. Все устремились в монастырь, где жила в тишине ее сестра Феодора, не ждавшая, что судьба готовит ей такие перемены.

– Ты хорошо рассказываешь, – заметил Ярослав, – и внимать твоему рассказу поучительно.

– Но чтобы вам стало яснее положение, – заметил польщенный ярл, – надо сказать, что у Зои две сестры. Одну зовут Евдокией. Она прокаженная и навеки спрятала свое несчастье в монастыре. Вторую, как я уже говорил, зовут Феодорой. Она тоже была монахиней. Но насколько Зоя привлекательна по внешности, даже теперь, когда ей шестьдесят лет, настолько Феодора некрасива, худа, с предлинным, как у ослицы, лицом, с неуклюжим телом. Кроме того, она скупа, а болтлива, как сорока. Но послушайте, что произошло потом! Феодору извлекли из кельи и потащили в монашеском одеянии в храм Софии, чтобы провозгласить там под клики народа императрицей. Воспользовавшись тем, что его на время оставили в покое, Михаил Калафат бежал вместе со своим родственником Константином в монастырь, называемый Студион. Но Георгий Маниак, который всем распоряжался во дворце от имени перепуганной Феодоры, послал вдогонку воинов с приказанием доставить беглецов в Священный дворец.

– Он меня отправил за ними, – с удовольствием пояснил Филипп, что дало повод Анне поднять на него глаза.

– Да, сначала туда поспешил с малым отрядом мой молодой друг. А когда во дворце стало известно, что к Студиону движутся огромные толпы народа, я сам отправился в монастырь, и за мною увязался этот сочинитель хроник, что всюду сует свой нос. В руках у него была навошенная табличка и красивая палочка из слоновой кости. Он ею записывал что-то...

Михаил Пселл действительно всюду хотел быть и все видеть. Это таилось в его характере. Нетрудно догадаться, почему протоспафарий водил дружбу с дворцовыми варягами и часто угощал их вином.

Гаральд рассказывал:

– Писатель надеялся, что мы будем сообщать ему обо всем, что видим в Священном дворце. Но я сам больше узнал от этого болтуна, чем рассказал ему, хотя протоспафарий вечно что-то записывает на восковых дощечках. Между тем я уже явился в Студион, и Филипп сказал мне, что Михаил и Константин нашли прибежище в алтаре церкви. По греческим обычаям, никто не может схватить человека и вести его в темницу или на казнь, если он успеет войти в алтарь. Даже если это преступник. Мы видели с Филиппом, как оба они трясущимися руками срывали с себя царские инсигнии и поспешно облачались в черное монашеское одеяние, которое постарались принести монахи. Михаил цеплялся дрожащими руками за витые колонки престола. В Студийской церкви он сделан из литого серебра. И что же мы увидели? Подле согбенного царя стоял Константин и с презрением смотрел на нас. Я хотел войти в алтарь и увести обоих во дворец, однако монахи воспротивились этому, уверяя, что за подобное святотатство нас покарают небеса. Я уступил и стал ждать распоряжений. Ожидать пришлось недолго. Вскоре в церкви появился запыхавшийся епарх. Так называется вельможа, которому поручено ведать городом. Его звали Никифор Кампанар. Он привез повеление, подписанное рукой Феодоры пурпуровыми чернилами, в коем предписывалось, чтобы царь и его дядя немедленно покинули храм. Тогда мы выволокли обоих на монастырский двор...

– И у тебя поднялась рука на помазанника? – спросил Всеволод, слушавший рассказ о константинопольских событиях в крайнем волнении. Это был единственный человек в семье, не считая Марии, который полагал, что надлежит быть в хороших отношениях с Царьградом. Странно, что, невзирая на такие взгляды, отец любил его больше всех других сыновей.

Гаральд смутился. Он мог бы умолчать о своем участии в этом деле, но вино развязало ему язык и породило желание рассказывать о тех потрясающих событиях. Ярл сказал в свое оправдание:

– Мы только исполняли то, что нам было приказано. Если ты, светлый конунг, повелишь своим воинам сделать что-либо, они обязаны выполнить это немедленно, иначе за что же они получают от тебя награду?

Однако слушателям не терпелось узнать, что происходило дальше, и слышались голоса, требовавшие продолжать. Гаральд посмотрел на Ярослава и, получив от него молчаливое раз-

решение, но не желая восстанавливать против себя этого святошу Всеволода, продолжал уже с меньшим увлечением:

– Потом произошло ужасное. Мы с Филиппом только присутствовали при этом и были не в силах помешать казни.

– Что же случилось? – спросил Ярослав.

– Когда мы вели схваченных по улице, нас сопровождали монахи, которым епарх Никифор дал слово, что ничего плохого не сделают с царем и Константином... Но едва мы достигли площади, называемой Сигма, как встретили посланных из дворца палачей с орудиями ослепления. Они быстро развели огонь в переносном горне и раскалили на нем страшное железо. Василевс бился в руках мятежников, но палач спокойно продолжал под рыдания Михаила приготовления к казни. Какой-то сенатор, не опасаясь того, что может поплатиться за свое милосердие собственной головой, утешал несчастного. Когда василевсу связали цепью руки и раскаленное железо коснулось его зениц, он завыл, как зверь. Ослепленный стал биться на земле и царапать лицо. Константин держал себя мужественнее. Он сказал палачу, указывая на обступивших его людей, не желавших ничего упустить из такого зрелища: «Разгони эту чернь, чтобы все добропорядочные видели, как я перенесу казнь». И отказался от цепей, которыми обычно связывают ослепляемых, чтобы они не бились и не причиняли себе напрасных страданий. Затем Константин лег на землю. Он перенес казнь без единого стога! Помню, что рядом со мной стоял Пселл. Он шептал мне за плечом: «Утром еще они повелевали всем миром, а вечером стали жалкими слепцами!»

Гаральд был певцом, поэтом, играл на арфе и поэтому умел красиво рассказывать о том, что ему привелось увидеть во время своих странствий.

– И вот тогда-то, – воскликнул ярл, – и взошла на греческие небеса звезда Константина Мономаха!

Он знал, что Мария была дочерью василевса от первой жены, уже покинувшей мир. В этом месте рассказа требовались пышные хвалебные выражения: речь шла не только о том, чтобы получить в награду прелестную улыбку греческой красавицы, но и снискать расположение Всеволода, который имел большое влияние на отца. Кроме того, не лишним было и пробудить ревность Елизаветы. Как опытный соблазнитель, Гаральд знал цену этому страшному чувству. Мария же достаточно понимала русский язык, чтобы оценить панегирик отцу.

– Василевс, ныне царствующий в Константинополе, происходит из Далассы. Красота его напоминает статую...

Анна представила себе Константина Мономаха в образе Филиппа и затаив дыхание слушала рассказ.

– Семь долгих лет героя держали в ссылке. Семь лет он прозябал в изгнании, потому что при его появлении на улицах Константинополя народ приходил в неистовство. Но Пселл говорил правду, когда уверял меня, что природа сделала у этого царя крепость мышц только основанием здания. Потому что мощь василевса Константина не в мышцах, а где-то в глубине сердца. Однако десница его тоже отличается необычайной силой. Помню, однажды он с увлечением пожал мне руку за какую-то оказанную услугу, и я потом чувствовал это рукопожатие несколько дней, а ведь никто не может сказать, что я хилый человек. Но, кроме того, как он умеет очаровывать одинаково и мужчин и женщин своими улыбками!

От удовольствия Мария тоже улыбнулась рассказчику. На мгновение на смугловатом лице блеснули чудесные, как жемчужины, зубы. На правой щеке темнела родинка...

– Против таких улыбок не может устоять самое каменное сердце. И вот ради пользы государства этот красавец стал супругом стареющей Зои.

Анна внимала, не пропуская ни одного слова. Зоя уже старуха! А сколько она слышала об этой необыкновенной женщине, об ее умении пользоваться благовониями и притираниями! Как бы хотелось посетить Царьград, о красоте которого столько рассказывали брат Всеволод, и



Илларион, и другие люди, побывавшие там. Недаром она и сестры одевались, подражая знатым гречанкам, а торговцы привозили им из Константинополя редкостные вещи. Но Анну вывел из задумчивости громоподобный голос брата Святослава:

– Отец, не довольно ли уже об убийствах и ослеплениях! Посмотри вокруг себя! Гостям хочется послушать певцов. Пусть Гаральд споет ту песню, которую он пел вчера за моим столом! Гаральд!

Святослав был в красной шелковой рубаше с богатым золотым оплечьем. Он поднялся со скамьи и счастливыми пьяными глазами, позабыв о своих болячках и скучной жене, оглядывал сидевших за столом, и все отвечали ему веселыми улыбками и шутками. От горящих свеч, медленно оплывавших на серебряные чашечки светильников, от разгоряченного вином человеческого дыхания в пиршественной зале становилось жарко. Перебродивший мед напоминал о пчельнике. Почтенные бояре, уже упившиеся вином, ослепшими глазами поглядывали на соседей. Те, что помоложе, шумели, вскакивали со скамей и, поднимая турий рог, полный пенистого меда, были готовы под любым предлогом затеять драку, вырвать у соперника клочок бороды. Но их белотелые жены звенели золотыми ожерельями, раздумялись и похорошели на пиру. Им хотелось веселиться, слушать музыку. Гаральд окинул взглядом собрание, точно спрашивал себя, оценят ли здесь его песню, сложенную с таким волнением в честь любимой русской девы. Потом поманил рукой одного из отроков. Прислонившись к притолоке двери, скрестив руки на груди, тот задумчиво смотрел на пирующих. Но юноша уловил знак и подошел к Гаральду, с полной готовностью служить такому знаменитому мужу.

– Друг, принеси арфу! – сказал ярл.

Когда Гаральду вручили ее, изогнутую, как лебединая шея, он стал настраивать золоченые струны опытной рукой, точно поджидая вдохновение, которое посещает певца в счастливые минуты. Мало-помалу наступила тишина. Елизавета, зная, что сейчас будет прославлена ее красота, отвернулась и опустила глаза. Но все другие устремили взоры на скальда. Теперь ярл носил кроме длинных усов коротко подстриженную бороду. Левая бровь у него взлетела выше, чем правая. Большие белые руки с редким искусством перебирали струны. Он был сложен, как Тор, бог войны, в которого еще верили старики и старухи в глухих селениях Упландии, где весною является на заре в березовых рощах зеленоглазая Фрейя.

Гаральд подбирал на арфе мелодию, и вдруг его сильный, но мягкий голос пропел знаменитые стихи о корабле, миновавшем Сицилию...

Наш корабль миновал Сицилию,  
мы были в красивых одеждах,  
как подобает воинам.  
Быстроходный корабль с высокой кормой  
нес воинов к славе.  
Не думаю, чтоб малодушный  
решился уплыть так далеко.  
Но русская дева с золотым ожерельем  
мною пренебрегает...

Гаральд перестал петь, печально склонил голову набок и смотрел вдаль, точно вспоминая минувшие годы и еще раз переживая свою любовную тоску. Некоторое время он перебирал среди мертвой тишины звонкие струны, потом вздохнул, посмотрел на Елизавету и, запрокинув голову, продолжал:

Мы смело построились перед трандами,  
хотя было их больше числом, нежели нас.

Поистине там разыгралась ужасная битва,  
с их королем бился я в единоборстве  
и убил его в этом сражении.  
Но русская дева с золотым ожерельем  
мною пренебрегает...

Снова раздался рокот арфы. Послышался чей-то женский вздох. Лицо Гаральда стало суровым, но он уже не смотрел на Елизавету и не видел, как высоко вздымалась ее грудь от взволнованного дыхания, которое вызывается любовью.

Шестнадцать нас было, милая дева!  
Средь бури мы черпали воду в ладье,  
волны тяжелый корабль заливали.  
Не думаю, чтоб малодушный  
решился заплывать так далеко.  
Но русская дева с золотым ожерельем  
мною пренебрегает...

Теперь Елизавета не постыдилась повернуть свое лицо к певцу и, подарив его сияющей улыбкой, прошептала:

– Гаральд, я не пренебрегаю тобой...

Обращаясь к ней, он пропел:

Я родился там, где упландцы натягивают луки.  
Теперь я правлю боевым кораблем среди скал.  
Гроза сарацин...

Наградой воину за стихи были восторженные восклицания. Слушатели поднимали за его здоровье рога, наполненные медом, женщины улыбались, а некоторые рукоплескали, научившись этому у приезжих греков, которые имеют обыкновение так выражать одобрение певцам и музыкантам. Лицо Елизаветы пылало.

Тогда арфу взял из рук Гаральда скальд Теодульф, чтобы прославить его своей песней:

Смелым, Гаральд,  
тебя называют,  
ты в тишине  
не умрешь на соломе,  
ты среди битвы  
паришь, как орел...

Ярослав был доволен пиром. Но Ингигерда, устав от шума и духоты, покинула собрание в сопровождении прислужниц. Тогда старый князь предложил Гаральду пересесть поближе к нему. Он решил, что Елизавета еще успеет наговориться со своим возлюбленным, а ему хотелось расспросить ярла о некоторых благочестивых предметах.

– Слышал я, что ты был в Иерусалиме? – спросил старый князь.

– Я был в этом святом, а ныне несчастном городе.

– Что же ты видел там?

– Я видел страшное запустение. После войны греков с сарацинами Иерусалим лежит в развалинах. Храм, построенный на Голгофе, разрушен до основания. Василевс послал меня в

Иерусалим, чтобы восстановить рухнувшие стены этого здания, и каменщики трудились много месяцев, прежде чем удалось выполнить повеление.

– И сарацины не чинили препятствий?

– Даже помогали нам, доставляя строительные материалы. А сам халиф присылал мне прохладительные напитки, так как в той стране в летнее время стоит невыносимая жара.

– Пришлось ли тебе видеть Иордан?

– Я искупался в этой реке, чтобы омыть грехи. В том месте проходит дорога в город Иерихон. На ней разбойники безнаказанно нападали на путников, отнимая у них ослов и одежду. Но халиф дал мне воинов, и я очистил путь от разбойников. Теперь все желающие могут направляться туда в полной безопасности.

– А еще что видел ты? – любопытствовал Ярослав.

– Еще я видел Мертвое море. Воды его полны серы, упавшей с небес, когда были истреблены Содом и Гоморра, и в этой черной воде не может жить никакая рыба.

– Много видели твои глаза, – с грустью сказал Ярослав.

Когда за столом уже началось целование между мужчинами и женщинами, Илларион поспешил уйти из грядницы, как того требовал церковный устав, и вслед за ним удалились Ярослав и Всеволод с Марией. Повинуясь знаку отца, Елизавета и Анна тоже встали из-за стола. Анна видела, что все были сыты и веселы. Женщины громко смеялись. Перед тем как покинуть пиршественную залу, она посмотрела с нежностью на молодого ярла. От этого взгляда его лицо залилось румянцем. Девушка улыбнулась ему и, еще не отдавая себе отчета в том счастье, которое вдруг наполнило ее сердце, с горестным сожалением оставила пир.

Заметив, что Илларион удалился, поп Иван пустился в пляс, при всеобщем одобрении и смехе.

Позднее, когда Анна расплетала наверху косы, в тихой горнице, где спали сестры, появилась сердитая мать, поговорила с Елизаветой, а потом пронзительно посмотрела на другую дочь и сказала:

– Хотела бы я знать, почему ты так смущалась за столом, медлила прикоснуться к пище?

Анна взглянула на мать с волнением, страшась, что тайна ее будет открыта.

– Почему же ты молчишь? – настаивала княгиня.

– Я не знаю, о чем ты говоришь. Мне нездоровилось.

– Нездоровилось? Вот почему так горело твое лицо? И теперь горит. А не потому ли, что ты лжешь матери?

– Я не лгу тебе.

Но мать не верила ей.

## 5

Едва умолк шум пира, как была устроена большая охота на вепрей. Эти звери водятся в большом количестве там, где растут дубы, дающие диким свиньям обильную пищу в виде желудей, а Киев со всех сторон окружали дубравы. В приготовлениях к забаве деятельное участие принимал Святослав, как всегда довольный собою, своим богатством, конями и оружием, хотя по-прежнему весьма страдавший от болячек на шее, от которых его не могли излечить лучшие армянские и сирийские врачи.

Всеволод, по обыкновению, от этого лова уклонился, ссылаясь на недомогание, а другие братья находились в отъезде. Зато Гаральд и Филипп приняли приглашение на охоту с восторгом, предвкушая удовольствие вонзить копьё в ошестинившегося вепря и вдохнуть ноздрями острую, мускусную теплоту звериной крови. Никогда человек, казалось им, не чувствует так явственно жизнь, как наблюдая смерть врага или зверя. Пожелали отправиться на лов и обе

сестрицы, Елизавета и Анна. По просьбе матери, Святослав должен был позаботиться, чтобы с ними не случилось чего-нибудь худого.

Накануне отправления на охоту, услышав, что брат действительно занемог, Анна навестила болящего. Молодой князь обитал с супругой в ограде княжеского дворища, но в отдельных хоромах. У него были свои вооруженные отроки и отдельный домоуправитель. Анна направилась в дальний конец двора, занимавшего такое обширное пространство, что на нем иногда собиралось народное вече и устраивались конские ристания. Сейчас на нем стояла тишина, все заросло крапивой. На траве лежали собаки и щелкали зубами, ловя злых осенних мух. Псы вежливо помахали хвостами, когда Анна проходила мимо. Кое-где рабы лениво выполняли ежедневные работы – один колол дрова у поварни, другой нес воду в ведрах на коромысле, некоторые проветривали меха. Над колючими цветами, которые называются лепками, кружились белые мотыльки. Хвосты у собак были полны этих шишек, и Анна вспомнила, что в детстве играла с братьями, бросая эти колючки, легко прилипавшие к одежде.

Мария, жена Всеволода, встретила свойственницу радостными поцелуями. Ярославна тоже с удовольствием прижалась щекой к ее прохладной щеке, спрашивая о брате. С улыбкой, стесняясь своего произношения, гречанка ответила, что у больного врачи.

Привыкшая к пышности Священного дворца и общению с воспитанными людьми, дочь царя, приехав в страшную скифскую страну, воображала, что мужем ее будет какой-нибудь огромный варвар, в объятиях которого ей придется трепетать, как птичке в пасти зверя, а он оказался тонким и болезненным юношей. С первых же дней Мария привязалась к нему со всей женской нежностью, возвращенной в гинекею. Когда Всеволод хворал, она сама готовила для него отвары, какие предписывал врач, и проводила ночи у его изголовья. Но болезнь проходила, и тогда большой дом наполнялся смехом влюбленных супругов.

Молодой князь страдал печенью и всякий раз, как выпивал на пиру слишком много меду, болел.

Когда Анна появилась на пороге горницы, Всеволод улыбнулся ей. Он лежал на широкой деревянной кровати, под меховым покрывалом, невзирая на теплую погоду. У одра болящего стояли двое врачей.

Один из них, красивый, чернобородый, но предрасположенный к полноте человек, был армянин по имени Саргис, по каким-то причинам покинувший город Ани, вероятно спасаясь от неверных, и поселившийся в Киеве, где лечил всю княжескую семью: Ярослава от бессонницы, Святослава от нарывов, Ингигерду от сердечного томления, а Всеволода от колотья в бок. В умных глазах лекаря можно было прочесть гордость своей великой наукой, дававшей ему возможность взирать с аристотелевских высот на простых смертных, считавших, что недуги – лишь наказание, посылаемое за грехи, тогда как все объясняется сухостью или влажностью человеческого организма, обилием слизи или слабостью почек и прочими естественными причинами. Некогда врач изучал медицину в знаменитой Муфаргинской школе, которую прославили на весь мир два армянских врача – Бусаид и Иессе. Саргис хорошо говорил по-гречески и по-арабски, изучал Аристотеля и привез из Армении трактат Немесия «О природе человека», переведенный на арабский язык. Имена великого Гиппократ и Галена не были для него пустыми звуками, но в среде знатных людей он остерегался прибегать к сильнодействующим средствам, ограничиваясь рвотными снадобьями, кровопусканием и приятными отварами, от которых не могло произойти в таинственных недрах тела опасных изменений.

Увы, приходилось быть осторожным с гневливыми воинами, хотя русские дружелюбно относились ко всем чужестранцам.

Когда Анна вошла в горницу, Саргис стоял у постели и держал двумя пальцами запястье князя, точно прислушиваясь к чему-то, доступному только его слуху. Рядом находился другой врач, родом грек, по имени Евлампий, привезенный в Киев митрополитом Феопемптом. Этот

человек, хотя и лечивший других, сам имел весьма болезненный вид, с неопрятной всклокоченной бородой, в монашеском одеянии. В течение многих лет Евлампий врачевал русских купцов в предместье святой Мамы и научился их языку.

Может быть, для того чтобы посрамить грека своим глубоким знанием врачебных тайн, Саргис бережно опустил руку Всеволода на одеяло и сказал:

– Что такое тело человека? Повозка, запряженная теплом, холодом, сухостью и влажностью. Это те же четыре элемента. Огонь, вода, воздух, земля. Поэтому лечить болезни нужно, сообразуясь с природой человека.

Женщины ничего не поняли из того, что сказал врач. Только Всеволод улавливал в его словах некоторые мысли, так как привык читать греческие книги, в которых говорится о подобных вещах.

Но грек, лечивший митрополита и прочих духовных особ освященных елеем, не признавал гиппократовских тонкостей. Он возразил Саргису:

– Болезни надо изгонять из человеческого тела постом и молитвою или помазанием елеем. Ибо всякий недуг – зловерный дух.

– Не спорю, – благоразумно ответил Саргис.

– К чему эти ухищрения? – негодовал грек. – Если господь не поможет совладать с недугом, не исцелят никакие снадобья.

– Не спорю, – дипломатично повторил армянин, – но что говорит об этом Гиппократ?

– Гиппократ! – презрительно поморщился Евлампий.

– Да, Гиппократ! Неугасающее светило! Он, например, говорит, что зевота или потягивание происходят отнюдь не от влияния нечистой силы, а от усталости тела. Конечно, бывает, что злые духи овладевают человеком, особенно во сне, принимая в сонном видении образ соблазнительной женщины или даже крылатого чудовища. Однако чаще всего это объясняется слишком обильной пищей, принятой во время позднего ужина...

Всеволод не без удовольствия выслушивал важные разглагольствования врачей, хотя и морщился от покалывания в боку.

– Тебе больно? – в крайнем огорчении спрашивала мужа Мария.

Князь застонал в ответ. Но Анна догадалась, что так он поступал для того, чтоб лишний раз вызвать в сердце любимой супруги нежность.

– Молись святому Пантелеймону и будешь здоров. Господь лучше знает, какая у тебя болезнь.

Грек ушел. Проводив, его взглядом, Саргис сказал:

– Для чего же нам дан разум? Не для того ли, чтобы распознавать болезни и лечить больных травами, произрастающими на земле? Что мы лечим у тебя? Болезнь печени. Ее признаки налицо. Боли в боку, в спине и правом плече. Правая рука у тебя отяжелела? Отяжелела. Как обычно бывает у тебя в таких случаях. Судя по биению жилы, тебя лихорадит. Причина всему – вино, поглощенное свыше меры. Я уже тебе говорил. Пьянство – не для тебя.

Всеволод терпеливо выслушивал советы врача, в надежде, что он и на этот раз избавит его от ноющей боли...

– Что предписывает в подобных случаях искусство врачевания? Покой, полынные отвары. Хорошо также пить настой из барбарисовых ягод или питье, приготовленное из меда с небольшим количеством уксуса.

– Князь не спал всю ночь, – пожаловалась Мария.

– И от бессонницы существуют средства. Вот что давай больному. Возьми головки мака, положи их в сосуд, налей в него воды, чтобы все было покрыто жидкостью, и вари на медленном огне, как похлебку. Затем процеди варево через чистое полотно. Храни этот отвар в глиняном горшке и давай выпить князю перед сном небольшое количество, предварительно

разведя снадобье наполовину водой. Но ни в коем случае не позволяй больному вкушать ни жирного мяса, ни перца.

– А вино? – спросил Всеволод.

– Разрешается, но в небольшом количестве. Оно пламенем сжигает человеку печень. Еще Иоаннес, выдающийся врач, писал, что у пьяниц сердце и печень ослабевают и находятся в состоянии угнетения. Вино вызывает тяжесть в желудке и гнилую отрыжку. Не говоря уже о том, что душа у опьяненного человека не способна приобщиться ни к чему разумному и как бы находится во мраке.

Всеволод вздохнул. Он подумал о том, что его братья пьют на пирах мед и вино и потом не испытывают ни малейшего страдания, а он прикован к постели за лишнюю чашу.

Саргис развел руками, как бы намекая на ограниченность человеческих сил.

– Ты знаешь, светлый князь, о моей готовности служить тебе. Если меня зовут к одру болящего, я спешу, не спрашивая, богат он или беден и может ли заплатить мне. Для меня безразлично, рубище на нем или золотое покрывало. Я лечу. Надеюсь, что тебе и на этот раз поможет полынное питье.

Анна видела, что эти врачи, приехавшие из Армении или Сирии, берут в свою руку кисть больного и определяют таким образом болезнь.

– Как ты можешь по биению жилки распознать недуг? – с уважением спросила она врача.

Армянин, потирая пухлые, опрятные руки, стал объяснять:

– Чем чаще бьется жилка, тем больше жар у человека. В юности я учился в далеком городе Муфаргине, неподалеку от Эдессы...

Названия этих далеких городов ничего не говорили Анне.

– Там я постиг арабскую науку врачевания. Потом я слушал в городе Ани учение о лекарственных травах. Один ученый человек, по имени Григорий, изучавший философию в Константинополе, основал с разрешения нашего царя школу, и от него я тоже узнал много полезных вещей. Но еще более я научился врачевать у некоего Кириака. Однажды я слышал, как он сказал Григорию, что его интересуют не звезды, не их влияние на судьбу человека, не движение небесных светил в зодиаках, а вопрос, каким образом соки пищи превращаются в кровь. Эта мысль так поразила меня, что с тех пор я стал задумываться над состояниями человеческого тела. Если мы откроем эту тайну, то возможно будет излечивать все недуги.

Врач получил мзду и удалился. Анна села на край постели. Мария же вынула засунутый за пояс белый платочек и с нежностью отерла пот со лба мужа.

– Скоро ты покинешь нас, – сказал Всеволод сестре.

Анна ничего не ответила. Мария смотрела на нее понимающими глазами.

Охотники пробудились задолго до рассвета. В городе пели охрипшие петухи. Поеживаясь от предутреннего холода, Святослав, Гаральд, Елизавета и Анна проехали по темным, кривым улицам. В хижинах уже просыпались трудолюбивые люди. Пастухи гнали коров к городским воротам. Горластые псы лаяли на всадников, и кони с умной предосторожностью косили на собак прекрасные глаза.

Святослав выехал на охоту в своем неизменном синем плаще на красной подкладке. От князя пахло потом и константинопольскими духами, которые привозили ему в подарок греки из Херсонеса, зная слабость русского князя к благовониям. Вместо меча на бедре у Святослава висела кривая печенежская сабля в простых кожаных ножнах с медными бляхами. Князь снял ее с убитого печенег после какого-то счастливого сражения и уверял, что никто не может выдержать молниеносного удара этим оружием.

Никогда еще Анна не испытывала такого волнения во время сборов на охоту, как в тот день. Она была уверена, что встретится сегодня с Филиппом.

После пира, разгоряченная впервые выпитой чашей греческого сладкого вина, а еще больше посетившим ее чувством, Анна без сил бросилась в постель, в своей неопытности не подозревая, что в тот вечер уже пришла к ней любовь. Она долго думала о прекрасном ярле, а потом уснула, сжимая в руках пуховую подушку. Наутро ее разбудил голос Елизаветы:

– Анна! Анна!

Ярославна проснулась, и первое, что ей пришло на ум, было вчерашнее пиршество, когда рядом с нею сидел за столом Филипп. В одно мгновение вспомнив все мельчайшие подробности, она так и осталась сидеть на постели с блаженной улыбкой на устах.

Сестра спрашивала ее со смехом:

– Что с тобой?

– Ничего, – ответила Анна, погруженная в свои сладкие воспоминания.

Она размышляла о том, что рассказывали вчера о царице Зое. Потом снова Филипп встал перед ней как живой, в широкой зеленой рубахе, сияющий, как крылатый архангел. Она повторила шепотом:

– Ничего.

Елизавета погрозила ей пальцем...

И вот по пути на охоту, в тусклом рассвете прохладного утра, Анна иногда оборачивалась или тайком смотрела в ту сторону, где рядом с Гаральдом ехал Филипп, и ей казалось, что она ловила на себе его взгляды. При мысли об этом у нее несколько раз щемило в груди. Она еще не знала, что бедное женское сердце способно так сладко замирать. И вдруг неожиданная радость наполняла все ее существо. Ей хотелось смеяться, неизвестно почему, так, без всякой причины, а потом вдруг становилось грустно до слез.

Когда охотники переправлялись вброд через неглубокую серебристую речку, извивавшуюся по долине, Анна улыбнулась Филиппу в ответ на его тревогу, с какой он посмотрел на нее, когда серая кобылица неловко поставила ногу на камень и поскользнулась. Анна едва не упала в воду. В этот миг ярл невольно подался вперед, широко раскрыл глаза, как бы в ужасе от того, что видел перед собою, и положил руку на сердце. Это движение выдало его с головой.

Анна догадалась, что Филипп любит ее, и в порыве бессознательного лукавства подняла руки и стала поправлять на голове зеленый шелковый плат, под которым, как золото, лежали закрученные вокруг головы рыжие косы. Она была в широком сарафане из синего миткаля, с золотыми позументами, сшитом для охот и верховой езды, чтобы в случае нужды удобнее сидеть в седле по-мужски и чтобы ничей нескромный взгляд не увидел ее белые девичьи ноги... Из-под золотой каймы подола виднелись красные сафьяновые сапожки.

Ярославна чувствовала себя молодой, красивой, способной покорить весь мир.

Переправившись через речку, свернули с дороги к дальним курганам, за которыми на расстоянии нескольких поприщ уже начинались дубравы, обильные крупной дичью. Там водились лоси, олени, косули, вепри. Псы весело бежали впереди, приносиваясь к крепким осенним запахам, довольные своим существованием, предчувствуя опьяняющую борьбу с клыкастыми зверями. Загонщики своевременно сообщили, что в дубраве за старым мостом замечен большой выводок диких свиней. Охота обещала богатую добычу. Мясо вепря, вскормленного горькими желудями, – прекрасная еда. Искусные повара сдабривают эту пищу перцем, шафраном, имбирем. Но охотники знали, что загнанный в трущобы кабан яростно защищает свое звериное существование, и поэтому все, кроме Елизаветы и Анны, выехали в поле с оружием. На вепрей обычно охотятся с копьями в руках.

Когда над туманным Днепром забрезжил рассвет, охотники стали трубить в рога, и псы, как безумные, бросились выгонять кабанов из чащи. Звери искали спасения в густых зарослях папоротника, но собаки с радостным заливистым и злым лаем, захлебываясь от нетерпения, помчали их в овраги, как будто бы понимая, что там охотникам будет легче всего настигнуть добычу. Кони сами неслись вдогонку за стадом злобно хрюкающих вепрей. Непрестанно

слышались волнующие звуки охотничьего рога. В опьянении погони людям хотелось трубить, кричать бессмысленно, мчаться через препятствия, настигать зверя и пронзать его копьем.

Анна скакала вместе со всеми. Сидя по-мужски на небольшой, но быстроходной кобылице с плавным степным бегом, она вдыхала всем своим существом упругий осенний воздух, бивший в лицо, и запах лесной свежести. Ветер шумел в ушах, и от его шума сердце наполнялось ликованием. Порой нежная паутина прилипала к щеке. Рядом мчалась Елизавета и улыбалась сестре, разделяя ее радость. Святослав кричал им издали, оборачиваясь и сверкая глазами:

– Ликует стрелец, настигающий зверя! Так и я!

И они махали ему рукой.

Как и надеялись охотники, псы загнали несколько вепрей в глубокий овраг, где приходилось скакать с осторожностью, из опасения покалечить коням ноги. Анна заметила, что брат Святослав не расставался с Гаральдом, с которым он подружился в последние дни, покоренный его щедрыми дарами в виде двух огромных серебряных блюд. На одном полунагая женщина высыпала из рога изобилия плоды и цветы, на другом юный Давид пас овец и играл на кифаре. Тяжкое серебро мелькнуло в памяти Анны, но блеск металла тотчас погас: Святослав очутился перед огромным черным кабаном. Перед другим, таким же клыкастым, стоял Гаральд. Оба они в охотничьем порыве соскочили с коней и обнажили мечи, не имея копий, которыми лучше всего поражать этих зверей.

– Святослав! – крикнула Анна, не подумав, что может отвлечь внимание брата. К счастью, опытный охотник не обернулся на окрик.

В эти мгновения Ярославна находилась на самом краю оврага, едва сдерживая свою Ветрицу, под копытами которой осыпались комья земли, и хорошо видела все, что происходило внизу. Рядом с усилием натягивал поводья Филипп, чтобы не свалиться вместе с конем в глубокий провал.

Вепри, если они не ранены и не боятся за своих детенышей, предпочитают обычно искать спасения в бегстве, но стены оврага оказались слишком обрывистыми, чтобы им возможно было взобраться наверх, и загнанным зверям ничего не оставалось, как вступить в смертный бой. Псы с громким, но уже хриплым лаем, не прекращающимся ни на одно мгновение, и в остервенении, ничего равного которому нет на земле, смело бросились на добычу. Вепри выставляли страшные клыки; из мокрых разверстых пастей исходило огненно-зловонное дыхание... Вот один из особенно неистовых псов уже завыл и покатился с распоротым брюхом, обагрив кровью траву. Остальные собаки отшатнулись, умолкли на миг и потом с новой яростью продолжали драку. Среди этого смятения охотники ждали удобного случая, чтобы расправиться с опасными животными в заманчивом единоборстве. Но вдруг один из кабанов, черный, как бы опаленный адским огнем, покрытый невероятной щетиной, расшвыряв в последнем усилии собак, летевших от него в разные стороны, как жалкие щенки, изловчился и, понуждаемый ужасом смерти, прыгнул на торчавшее корневище, послужившее для него мостом, чтобы выбраться из оврага. Ни Святослав, ни Гаральд не могли помешать ему, так как обоим пришлось сражаться с другим свирепым зверем. А выбравшийся из оврага вепрь, неожиданно почувствовав себя на свободе, уже помчался с торжествующим хрюканьем в соседний орешник. Пока Гаральд убивал мечом второго кабана, собаки прыгали и пытались взобраться на корневище, но оно обрушилось, засыпая псов землею... Уже запахло мускусной кабаньей кровью. Оставленные без присмотра кони, встревоженные этим запахом, умчались, закусив удила, в другой конец оврага, вызвав всеобщий переполох и сердитую брань Святослава.

Едва вепрь очутился в орешнике, как Анна, даже не отдавая себе отчета в том, что делает, тут же повернула Ветрицу и кинулась за зверем в погоню. С нею не было ни оружия, ни псов, и охотница вспомнила об этом уже во время преследования кабана. Он мчался теперь к дубовой роще, и кобылица, легко выбрасывая ноги, скакала за ним сквозь ореховые кусты. Иногда



Ярославна видела среди низкорослых папоротников подпрыгивающую спину зверя. Вепрь то скрывался в кустах, то вновь появлялся на очередной лужайке.

Однако Анне стала мешать неровность почвы, и расстояние между нею и кабаном увеличивалось с каждым мгновением, а впереди уже манила дубрава, где зверь жаждал найти спасение. Лишь теперь девушка услышала, что кто-то скачет позади. Она обернулась на миг. Это был Филипп. Ярл мчался на расстоянии полета стрелы...

Анна даже успела рассмотреть оскаленные желтые зубы белого жеребца. Филипп скакал, несколько склонившись набок, чтобы лучше видеть Ярославну, и голубой плащ развевался над ним, как крылья огромной птицы. Дева еще раз оглянулась, и ей показалось, что она прочла в глазах ярла любовь. От этого взгляда, полного мужского любования, ее сердце возликовало. Во время скачки Анна потеряла зеленый плат, которым были повязаны закрученные косы, и теперь волосы рассыпались у нее по плечам, вздымаясь от встречного ветра золотым руном, и если бы Филипп находился поближе, она могла бы услышать, как ярл шепчет пересохшими от волнения губами:

– Валькирия! Валькирия!

Вепрь стремительно бежал к роще, и приходилось удивляться, что его короткие ноги способны на такую быстроту и столь неутомимы, но потом вдруг бросился в сторону, спустился в ложину и пропал из поля зрения. Когда Анна выехала на открытое место, зверь уже исчез. В то же мгновение ее догнал Филипп.

– Где вепрь? – спросила Анна, едва справляясь со своим дыханием.

Ярл придержал коня.

– Разве найдешь его теперь среди дубов?

Лошади их очутились рядом. Белый жеребец почувствовал нежность к молодой серой кобылице и стал кусать розовыми губами ее холку. Должно быть, он ощущал сладостный запах пота Ветрицы, потому что неожиданно заржал от обуревавших его чувств. Но Филипп безжалостно вздыбил его и, изо всех сил натягивая поводья, заставил повернуться несколько раз на одном месте, и тогда скакун снова подчинился власти человека. Анна с невольной улыбкой восхищения смотрела на ловкого всадника.

Не тревожась более об ушедшем вепре и уже не думая о наслаждениях охоты, Ярославна ехала, сама не зная куда, без всякой цели, по тропинке, едва видной среди редких и поэтому казавшихся особенно величественными дубов. Красота каждого из них была создана природой по особому замыслу, как красота человека. Деревья застыли в солнечной тишине; они созерцали мироздание, в котором существовали сотни лет. Им не было дела до того, что происходит в мимолетном времени людской жизни.

В мире людей все казалось хрупким и бrenным и не могло устоять против бури. Анна тоже чувствовала себя былинкой, что несется в потоке неизвестно в какое море. Ее душу наполняли неведомые доселе ощущения, каких она еще никогда не испытывала в жизни, самые радостные, какие только существуют на земле, и самые печальные, когда хочется умереть. Она не могла бы выразить их на скудном человеческом языке. Это все возможно передать только первым поцелуем, молчаливым взглядом, шепотом в лунную ночь.

Филипп тихо ехал позади, на расстоянии полета стрелы. Хотя он и был всего лишь варяжский наемник, смотревший на женщин как на временную утеху воина, но чувствовал сейчас, что ему не надо приближаться к Ярославне. И вдали от него Анна спрашивала себя: что же она делает? Разве она не дочь могущественного князя? Что ей до этого варяга, который сегодня служит здесь, а завтра в другой стране? Она повела плечом. Но оглянулась, и снова ее охватила сладкая грусть.

После погони за вепрем, когда порой захватывало дыхание, во рту у Анны пересохло, и ей захотелось пить. Это родилась огненная, ни с чем не сравнимая жажда. По некоторым признакам можно было догадаться, что где-то поблизости протекает ручей: там, где долина

понижалась, росли ракиты, любящие близость влаги. Анна, даже не спросив, желает ли Ярл следовать за нею, повернула коня в ту сторону. Вскоре она с радостью заметила прозрачную струйку воды, торопливо бежавшую по белым камушкам, как это часто бывает в местах, где растут дубы. Трава в ложбине, по которой протекал ручей, еще оставалась зеленой, и из нее с криканьем вылетели дикие утки, в отчаянье вытягивая длинные шеи, но на лужках и под дубами злаки уже поблекли и все было усеяно желудями – привольное пастбище для диких свиней. Кое-где последние цветы, колокольчики и еще какие-то, названия которых Анна не знала, робко поднимали синие и розовые головки. Над ними хлопотали вялые осенние пчелы, осторожно опускались на цветы, счастливо склонявшиеся от этой ноши, и, неловко перебирая лапками, точно сердясь на свою немощь, собирали остатки летней сладости. Листья на ореховых кустах совсем пожелтели, и по сравнению с ними дубы казались покрытыми великолепной зеленью. С них шумно падали желуди и порой тихо слетал побуревший лист. Золотые и розовые осины трепетали в предчувствии зимы.

Анна, держа коня за повод, спустилась к ручью. В одном месте вода лилась через камень и казалась особенно прозрачной. Девушка стала черпать ее рукою, пила из горсти и так делала до тех пор, пока не утолила жажду. Рядом наклонился к струе Филипп. Но он не черпал воду, а лег на землю и жадно пил, как зверь, – прямо из ручья.

Вероятно, им обоим было здесь хорошо. Ни она, ни он не беспокоились о том, чтобы предпринять поиски дороги, вовремя вернуться к охотникам. Известно, что влюбленные – как дети, а звуки рогов, очевидно, не долетали в эти чащи. Филипп ушел в орешник, и Анна видела, как он рвал с кустов орехи и потом принес их полную шапку.

В нерешительности, не зная, что сказать друг другу, они сидели под дубом, и рядом лежала красная шапка с орехами. Филипп срывал только самые крупные гроздья. Анна вынимала орех из побуревшего гнезда, клала в рот, зажималась на мгновение и с сухим треском разгрызала скорлупу молодыми зубами, чтобы вынуть из нее шершавый спелый орешек.

– Может быть, мы услышим звуки рогов? – спросила она.

Но вокруг стояла благодатная тишина. Ярл сидел рядом и молчал. Вспомнив рассказ Гаральда о Царьграде, Анна сказала ему:

– Расскажи мне еще о царице Зое.

Благодаря родству с Гаральдом и своему знатному происхождению Филипп уже двадцати лет от роду сделался начальником отряда дворцовой стражи, набранной из северных варягов, из которых многие были седоусыми воинами. В те дни вошел на престол Константин Мономах.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.